



ВАДИМ ДАВЫДОВ

ПРЕДНАЗЕРТАНИЕ

Наследники по прямой

Вадим Давыдов

Предначертание

«Автор»

2006

Давыдов В.

Предначертание / В. Давыдов — «Автор», 2006 — (Наследники по прямой)

Судьба и Рок. Пророчество и Предназначение. Честь и Долг. Чья могучая, безжалостная рука бросала Якова Гурьева из Москвы в Харбин, из Токио в Нью-Йорк, из Лондона – назад, в Москву? Кто он – игрушка Истории или её творец? О том, как Яков Гурьев становился настоящим Воином, сражаясь и побеждая, терпя поражения и теряя друзей и любимых, вы узнаете из второй книги трилогии «Наследники по прямой». Продолжение – следует!

© Давыдов В., 2006

© Автор, 2006

Содержание

ВЕНОК ЭПИГРАФОВ	5
Москва – Харбин. Май 1928	7
Харбин. Июнь 1928	8
Тынша. Август – сентябрь 1928	14
Тынша. Сентябрь 1928	17
Тынша. Октябрь 1928	23
Тынша. Зима 1928	30
Тынша. Февраль 1929	32
Тынша. Июль 1929	52
Тынша. Июль – август 1929	55
Тынша. Сентябрь 1929	64
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Вадим Давыдов Предначертание

ВЕНОК ЭПИГРАФОВ

*Эх, заря без конца и без края,
Без конца и без края мечта!
Объясни же, какая такая
Овладела тобой правота?!*

Тимур Кибиров

Кровью мы купим счастье детей.

П. Лаэров

Ты рядом, даль социализма!

Б.Л. Пастернак

*Спойте песню мне, братья Покрассы!
Младшим братом я вам подпою.
Хлынут слёзы неожиданные сразу.
Затуманят решимость мою.
И жестокое, верное слово
В горле комом застрянет моём...*

Тимур Кибиров

*Погоди, я тебя не обижу,
Спой мне тихо, а я подпою.
Я сквозь слёзы прощальные вижу
Невиновную морду твою.
Погоди, мой товарищ, не надо.
Мы уже расквитались сполна.
Спой мне песню: Гренада, Гренада.
Спойте, мёртвые губы: Грена...*

Тимур Кибиров

*Оскверняй без меня мертвецов в мерзлоте,
Я не буду в обнимку с тобой
Над Бухариным плакать в святой простоте
Покаянную сладкой слезой!*

Тимур Кибиров



Москва – Харбин. Май 1928

Замысел Городецкого сработал безупречно. Конечно, он, как никто, знал психологию, или, лучше сказать, основной психотип своих коллег по цеху и «товарищей» вообще, был отчаянно-нагло бесстрашен, обладая при авантюристическом складе характера душой настоящего воина, – уж в этом-то Гурьев успел убедиться на собственном опыте. И невольно задавался вопросом, – а если без Городецкого? Сумел бы он сам? Снятие за десять минут до отхода состава проводника в классном вагоне и «внедрение» на его место Гурьева выглядели – да и были, по форме своей, – классической чекистской операцией, к которым команды поездов «Москва – Харбин» давно и безнадежно привыкли. Наверняка, приставлен присматривать за кем-то из нкидовцев¹ или иностранцев... А Гурьев, сыгравший, – не без труда, но весьма убедительно, – своего в доску рубаху-парня, только улыбался загадочно-беспечно, так, что ни у кого сомнений не оставалось: причастен «высших тайн». И подливал он тоже щедро – истерически-трезвеннический настрой первой советской эпохи уже начал медленно, но верно замещаться привычным пьянством по всякому поводу, а чаще – и вовсе без всякого. Его это всегда поражало, причиняя почти физическую боль, – зрелище того, как человеческая энергия, сила духа и воля растворяются в вине, как людские лица превращаются в хамские перекошенные хари.

И вот – дорога. Теперь Гурьев был один, ясно ощущая это одиночество. Никого. Сначала не стало отца. Потом деда. Ушли в Пустоту – один за другой – Нисиро-о-сэнсэй и мама. Уехали Ирина и Полозов. Городецкий остался в Москве. Один.

Это было удивительное путешествие – невзирая на обстоятельства, что послужили причиной в него отправиться. Прежде Гурьев никогда не уезжал так далеко от дома, от Москвы, которую привык уже считать родным для себя городом, во всяком случае, занимающим в душе и в жизни куда больше места, чем некогда Питер. И эта мелькающая за окном вагона череда пейзажей действовала на него умиротворяюще и целебно. Ему казалось, что клубок тупой боли в груди поселился там после маминой гибели навсегда, но... Наверное, Городецкий всё-таки прав, подумал Гурьев. Наверное. Только что означают слова Сан Саныча – «приказываю, как пока ещё старший по званию»? Как понимать это – «пока»?

Да, так далеко он и в самом деле ещё никогда не путешествовал. Он и представить себе не мог, что такое это – настоящее «далеко». Как же понять свою страну, не проехав её от края до края – хотя бы раз в жизни?! Вот о чём говорил Мишима. Только сейчас Гурьев начинал по-настоящему проникаться его словами. И этим пространством. Не постигать, нет. Куда там – такое постигнуть! Завораживающе-однообразное покачивание вагона, ровный перестук колёс на стыках, смена дней и ночей – почти две недели в пути. Невозможно передать – только пережить самому. Россия.

Советскую половину границы он пересёк без всяких неприятностей. Китайский пограничник тоже не причинил никакого особенного беспокойства. Разумеется, ни сколько-нибудь значительных сумм в советской валюте, ни оружия у него при себе не было. Конечно, обыскивать его никто не собирался, да и вряд ли это удалось бы желающим, но – бережёного Бог бережёт. Тайничок, оборудованный за долгие дни дороги от Москвы во время ночных смен, избавлял Гурьева от необходимости трепетать перед властями, опасаясь за свои капиталы. Две увесистые «колбаски» по сто полуимпериалов царской чеканки в каждой и одна, поменьше, с пятью десятками полновесных червонцев. Зацахнуть от безденежья затруднительно.

До Харбина он добрался без приключений, где и покинул поездную бригаду, просто исчезнув без всякого следа.

¹ НКВД – Народный Комиссариат Иностранных Дел.

Харбин. Июнь 1928

В Харбине он играл лишь затем, чтобы не утратить навыки. Не особо таясь и не пытаюсь завести никаких прочных связей, Гурьев провёл в городе около месяца. Он снял чистую, опрятную комнату за весьма скромную плату, много читал, брал уроки верховой езды и почти ликвидировал лакуны в своём владении этой наукой – совершенно уверенно держался в седле при любом аллюре, хотя приступать к более сложным упражнениям по выездке и джигитовке не спешил. Гурьев превосходно помнил то щемящее чувство восторга, которое он испытал, впервые увидев отца верхом... Запах кожи, конского пота, травы и чего-то ещё, всё вместе составлявшее прекрасный, неповторимый запах детства.

Чёткого плана действий у Гурьева по-прежнему не было. Некоторое время он предполагал пересидеть в Манчжурии, затем – раздобыть какие-нибудь приличные документы и отправиться дальше, в Японию. Нисиро очень хотел, чтобы я туда поехал, подумал Гурьев. Что это за мистика, интересно? Ему нужно было в Японию. Просто необходимо было туда попасть, и надолго откладывать это путешествие не имело никакого смысла. Ирина? Странно, но расставание с Ириной причинило ему куда меньше боли, чем он ожидал. И меньше, чем хотел бы ощутить. Гурьев понимал, что мамина гибель что-то переключила в нём, пережгла что-то, – что-то важное. И в это короткое замыкание угодило неведомым образом его чувство к Ирине. Гурьев думал о ней, но совсем иначе, чем прежде. Тепло, – но иначе. Пташниковы и Полозов уже в Париже, наверное. И – слава Богу. У неё всё будет в полном порядке. Обязательно. А я? Нет, это смешно, обрывал он себя сердито. Всё кончилось. Кончилось? Нет. Начинается. Что?!

Он прогуливался по Новоторговой, когда взгляд его рассеянно скользнул по вывеске «Менделевич и сын. Скобяные и охотничьи товары». Гурьев улыбнулся и зашёл внутрь. Встретил его, похоже, сам Менделевич. Существовал ли этот самый «и сын», или приставка образовалась для солидности, подумал Гурьев. И если есть этот «и сын», то где он сейчас? Не дерёт ли глотку на каком-нибудь партийном или комсомольском собрании? Сколько их таких, вьюношей с чахоточным румянцем, отречётся от старого мира. Новый мир тоже от вас отречётся, и совсем скоро. Так всегда случается.

Его приличный костюм и ещё более приличный идиш произвели на Менделевича весьма благоприятное впечатление. Гвозди и молотки столь изысканного юношу заинтересовать не могли, поэтому, не затрудняясь излишними вопросами, Моисей Ицкович препроводил Гурьева к охотничьей витрине. Перейдя к полке с ножами, Гурьев сделал стойку: несколько похожих клинков с рукоятками из оленьего рога имели характерный цвет и рисунок булатной стали. Это было настолько необычно, что Гурьев сей момент определился с дальнейшими занятиями на ближайшее время.

Гурьев взял один из ножей. Баланс был хорош, да и всё остальное – внушало уважение. Он крутанул нож в пальцах несколько задумчиво и спохватился лишь тогда, когда увидел, как прынул от этого движения бедный Моисей Ицкович. Впрочем, большого труда успокоить купца Гурьеву не составило. Он быстро выяснил и то, что его на самом деле интересовало: кто, собственно говоря, настоящий автор сего чуда и когда появится снова, если появится. Тыншейского кузнеца Тешкова Менделевич ждал со дня на день. Ну, складывается как-то всё, подумал Гурьев. План у него в голове возник практически мгновенно.

– А оно вам надо?! – совершенно искренне изумился Менделевич. – Будь у меня возможность, я сегодня же уехал бы. Да хоть в Америку!

– Ну, Америка тоже не резиновая, реб Мойше, – улыбнулся Гурьев. – А мне, бродяге без ремесла, куда ещё, как не в подмастерья подаваться.

– Ну, дело, конечно, ваше, – не стал углубляться в дискуссию Менделевич. – Только места тут, чуть в сторону от железки, дикие и опасные. И хунхузы всякие, и семёновцы, и

прочие «овцы». Это в Харбине относительно спокойно, да и то... Того и гляди, война между большевиками и китайцами начнётся. Тогда уже точно житья не будет, особенно евреям!

– Будем переживать неприятности по мере их возникновения, – Гурьев наклонил голову набок. – А вообще, реб Мойше, так вам скажу. Хорошая драка лучше худого мира. Особенно с тем, кто мир использует, чтобы с силами собраться да вам же, мирному и незлобивому, в глотку вцепиться. Так что поживём – увидим.

– Как знаете, как знаете, – повторил Менделевич. – Если уж вам так хочется. Только мне кажется, что вы больше по торговой части способности имеете, чем по ремесленной.

– Да? – Гурьев чуть изменил позу и выражение лица. – А так?

Менделевич с минуту его разглядывал, а потом на его физиономии отобразилось такое удивление, что Гурьев не нашёл нужным скрыть улыбку.

– Как вы это делаете?! – Менделевич снял пенсне, зачем-то повертел его в руке и надел снова. – Просто Качалов,² да и только!

– Василий Иванович – гений, – серьёзно проговорил Гурьев. – Вот способы проникновения в суть образа у нас с ним, конечно, совершенно разные.

– Что?! – Менделевич уставился на Гурьева совсем дикарём. – Ох, реб Янкель!

– Ладно, ладно, – сжалился над ним Гурьев. – Нож этот я у вас куплю, и даже торговаться не стану, – он выложил на прилавок золотой «полуимперил» с профилем Николая Второго. – Берите, не стесняйтесь. Быстрее на билет в Америку собираете.

* * *

Заросший до самых глаз бородищей Тешков казался стариком, хотя в действительности едва перевалило кузнецу за сорок. На редкость удачный торг с владельцем скобяной лавки привёл его в отличное расположение духа. Выделив из образовавшегося барыша некоторую сумму, Тешков отправился отмечать удачную сделку в трактир. Гурьев, переодевшись в платье попроще, сопровождал его по противоположной стороне улицы.

Нет, ни пьяницей, ни выпивохой кузнец отнюдь не был. Да и рассказывать направо-налево, сколь невероятной удачей закончился его нынешний визит в Харбин, он не собирался. Проблема заключалась в том, что это явственно читалось по лицу Степана Акимовича. А таким искусством чтения, пускай и не особенно хорошо, но вполне сносно, в этом городе на настоящем историческом этапе владел не один лишь Гурьев. Решив понаблюдать, он в своих ожиданиях не обманулся.

Грабителей было четверо, и никакого организованного сопротивления своим действиям они не предполагали встретить. Конечно, свалить Тешкова было задачей не из лёгких, однако вооружённые револьверами и ножами лихоимцы наверняка своего добились бы, если бы не Гурьев.

– Те-те-те, – погрозил он пальцем последнему из нападавших, сохранявшему некие остатки сознания. Трое его дружков уже отдыхали на мостовой, не успев даже толком понять, что и откуда на них обрушилось. – Когда к точке бифуркации прикладывается воздействие фактора неопределённости, происходит резкое изменение направления общего вектора континуума. Плохо учили вас в гимназии, молодой человек.

«Молодой человек» икнул, закатил глаза и мешком осел наземь – болевой шок от вывернутой из сустава кисти дал о себе знать. А теперь, если ты возжаждешь мщения, усмехнулся

² Василий Иванович Качалов (настоящая фамилия *Шверубович*, 1875–1948) – русский советский театральный актёр; народный артист СССР, лауреат Сталинской премии. Благодаря выдающимся достоинствам голоса и артистизму, Качалов оставил заметный след в таком особом роде деятельности, как исполнение произведений поэзии и прозы в концертах, на радио, в записях на граммофонных пластинках.

про себя Гурьев, искать меня ты станешь совсем не там, где я буду находиться. И это радует. Убивать их он не стал по весьма прозаической причине, – не хотелось ему становиться сейчас объектом для приложения полицейского рвения. Хотя и времена лихие, а все же. Одно дело – драка в подворотне, и совсем другое – четыре тупа. И ещё, если честно – менее всего улыбалось Гурьеву предстать в глазах Тешкова бестрепетным душегубом. А с совестью давно у Гурьева никаких разногласий по вопросам такого рода не имелось. Он взглянул на пошатывающегося от избытка впечатлений кузнеца. Подобрал револьверы и, опустив – на всякий случай – один в карман, а другой – размозжив расчетливо-резким ударом рукоятки о брусчатку, враз сделавшим оружие ни к чему не пригодным, вкрадчиво осведомился:

– Идти можете, Степан Акимыч?

Кузнеца аж подбросило:

– Ты... Ты кто таков?!

– Палочка-выручалочка, – расплылся в широченнейшей улыбке Гурьев. – Так что?

– Могу-у-у...

– Ну, тогда вперед.

По дороге Гурьев вкратце посвятил кузнеца в историю своего с ним заочного знакомства и спросил:

– В ученики возьмёте, дядько Степан?

Задумался Тешков, и задумался тяжело, исподлобья разглядывая своего странного спасителя. Кость у парня хоть и крепкая, однако же не мужицкая, это понял Степан Акимович сразу. Но силён ведь, чертёнок! Если ещё и способный к кузнечному делу окажется... А жиганов-то раскидал – прямо загляденье, подумал Тешков. Ну, кости есть, а мясо нарастёт. Старший сын Тешкова уже два года болтался в отряде у «белоказачьего», как его называли в советских газетках, атамана Шлыкова, а с младшего по малолетству толку в кузнице было немного. Бедствовать Тешковы не бедствовали, но и богатеями не были. А работать приходится – ох. Подмастерье не помешает. Платить вот разве?

– Вот наукой и расплатитесь, дядько Степан. А? – Гурьев как будто мысли его читал, чем снова резкий прищур кузнеца заработал.

– Руки покажь, – хмуро проворчал кузнец.

Гурьев, улыбаясь, с готовностью протянул Тешкову обе кисти. Тот быстро и привычно обмял их пальцами, ощупал. Руки у парня тоже были не похожи ни на что, виденное кузнецом раньше. Не рабочие руки, конечно. Но... Костяшки словно ороговевшими щитками покрыты, пятка и ребро ладони твёрдые, а сама ладонь – как у гребца, крепкая. Запястье широкое, на господскую кость никак не личит. Что за канитель такая, подумал Тешков. Он хмыкнул:

– А ручки-то у тебя, парень, – того. На что тебе кузнецова наука?

– Хочу такую саблю выковать, которой реку пополам разрубить можно, – мечтательно воздев очи горе, произнёс Гурьев. – И чтоб булатная была.

Тешков только хмыкнул:

– А не боишься?

– Работы? Не-а, – беспечно тряхнул головой Гурьев. – А чего мне ещё бояться-то? Или кого?

– Ну, вроде как за мной должок, – буркнул кузнец. – По рукам, что ли?

– По рукам, – Гурьев пожал ладонь кузнеца, и, задержав её в своей, спросил: – Когда отправляемся?

– Ну... – задумался Тешков, что-то в уме прикидывая.

– Мне помощь ваша потребуется, Степан Акимович.

– Это в каком смысле? – насторожился кузнец.

– Коня купить.

– Коня-а-а?!? – изумился Тешков. – А конь-то тебе на кой ляд?!

– А денег куры не клюют, Степан Акимыч.

Тьфу ты, сплюнул мысленно Тешков, пацан – он пацан и есть. Хоть и такой. Ну, отчего ж не помочь. Можно и помочь, конечно.

– Можно и помочь, – проворчал Тешков вслух. – Только добрый конь немалых денег стоит. Ты не лыбся, не лыбся-то, почём зря, слушай, что старшие говорят!

– Непременно, дядько Степан, – посерьёзнев, кивнул Гурьев.

Тешков полагал – святая простота! – что коня им следует покупать на базаре. Вместо этого Гурьев поволок его на конный завод в Абрамовке, принадлежащий всё тому же Чудову, который «правил» половиной Харбина. Здесь у кузнеца просто глаза разбежались. Но спешить Тешков не собирался. Раз уж в Абрамовку приехали, так и возвращаться без доброго коника грех. Они долго ходили от конюшни к конюшне, сопровождаемые одним из приказчиков. Наконец, Тешков разглядел, что Гурьев, рассматривая лошадей, не торопится выбирать. Кузнец отозвал его в сторону, шепнул недовольно:

– Что тебе? Не глянется никакой, что ль? Чего рыскаешь-то?

– Да вот, дядько Степан, – Гурьев помялся. – Это ж тележные бугаи какие-то. Не глянется.

– Тю-ю-ю, – присвистнул Тешков. – На службу разве собрался-то? Что ж, строевского коня захотел?

– А хоть бы и строевского, – Гурьев упрямо наклонил голову набок.

– И зачем?

– А вы рассудите, дядько Степан. На водовозе верхом – какой всадник? Это раз. Много ли в станице породистых жеребцов на развод? Это два. С добрым конём меня и станичный атаман охотнее возьмёт. А прокормить – прокормим, Степан Акимович, и застояться не дадим. А?

Кузнец задумчиво разгладил бороду – сначала правой ладонью, потом и левой. Была в словах будущего подмастерья лукавая сметка, такая, что возрасту парня никак не годилась в пару. Ох, и не простой ты хлопец, в который раз подумал Тешков. И, кивнув согласно, развернулся к приказчику – совсем другим разговором:

– Ну? Настоящих-то коней покажешь, или так и будем до вечера тут киселя хлебать?

– Помилуйте, господа! – деланно изумился приказчик и, вытаращив глаза, обескураженно развёл руками. – Это самые...

– А будешь ерепениться, так мы сей минут разворачиваем, – ласково продолжил Тешков. Приказчик булькнул и расплылся в улыбке:

– Ну, вот. Сразу видно настоящего клиента!

– А если сразу видно, чего голову по сю пору морочил?! – свирепо рявкнул Тешков. – Хорош болтать, веди давай!

Этого коня Тешков увидел сразу. Аж сердце подпрыгнуло. Он шагнул к загону:

– Эт-то дело!

Конь и вправду был чудо как хорош. Буланый,³ тёмного оттенка, трёхлеток, с сухой лёгкой головой, плотным, мускулистым телом, длинной шеей и узкой глубокой грудью, высокий в холке и явно соскучившийся по настоящему всаднику. Вот бы подружиться нам ещё, с лёгким оттенком беспокойства подумал Гурьев. А когда я уеду, в хороших руках останется. Будем надеяться, что я не все уроки сэнсэя, касающиеся животных, позабыл. Ну, с Богом, как говорится. Он посмотрел на кузнеца, на закусившего губу приказчика, забывшего о маске продавца воздуха, и кивнул:

– Называйте цену, Павел Григорьевич.

– Э-э-э...

Поняв, что не ослышался, Тешков задохнулся от негодования:

³ Буланый – лошадиная масть. Корпус и голова желтовато-золотистые или песчано-землистые (есть темный и светлый оттенки), низ конечностей, хвост и грива ярко-черные, вдоль хребта может идти черный ремень.

– Да ты что, любезный, с глузды съехал, никак?!

– Спокойно, Степан Акимович, – улыбнулся Гурьев. – Это мы сейчас урегулируем. А позвольте, дражайший Павел Григорьевич, на воздух вас пригласить.

Тон и тембр голоса, каким было это произнесено, заставили кузнеца застыть в неподвижности, а приказчика беспрекословно последовать за Гурьевым. Да кто ж ты таков, паря, в смятении подумал Тешков. В тихом омуте?!

Через полчаса все формальности были улажены. Купленную здесь же сбрую Тешков проверил самолично, ворча и хмурясь, выговаривая Гурьеву за «барские замашки» не торговаться, как обычаем положено. Гурьев слушал его вполуха, любуясь великолепным животным. Конь, схрупув у него с руки горбушку круто посоленного ржаного хлеба, кажется, против нового знакомства ничего не имел.

– А ты верхом-то ездить умеешь? – подозрительно спросил Гурьева Тешков, седлая коня. – А?

– Не переживайте, дядько Степан, – Гурьев похлопал жеребца по крупу, поддёрнул, проверяя, подпругу и взлетел в седло. Конь мотнул головой и покосился влажным выпуклым фиолетовым глазом на кузнеца, пожевал тонкими губами. Тешков одобрительно хмыкнул.

Гурьев основательно подготовился к отъезду в станицу. К передней луке седла справа прилепился карабин «Арисака» с откидным несъёмным штыком, могущим при известной сноровке послужить и сошкой, разные необходимые мелочи в подсумках, выюк с бельём и одеждой, фляги с водой и походный паёк – кузнец едва рот не раскрыл, когда всё это богатство увидел. Было ещё кое-что, им незамеченное – отличный немецкий артиллерийский бинокль, глушитель для карабина и оптический прицел для него же, заблаговременно заказанный и вовремя полученный «люгер» восьмой модели с двумя запасными обоймами и кобурой отличной кожи – всё новенькое, прямиком со склада. Денег Гурьев на экипировку не пожалел. А чего их жалеть-то?

Упаковки с патронами для «Арисаки» и «люгера», кажется, возражений у кузнеца не вызвали, хотя по виду Тешкова было ясно, что готовность Гурьева воевать с парочкой полевых армий отнюдь не приводит его в благостное расположение духа. А вот огромный и тяжёлый чемодан, который Гурьев нагрузил в подводку, всё-таки заставил казака задать вопрос:

– Там что, кирпичи, что ль?!

– Книжки, дядько Степан, – улыбнулся Гурьев. – Зимой вечера-то – ого какие длинные. Иль не так?

Таких книг и в таком количестве, как в Харбине, Гурьев даже в Москве не видел. И удержать его от покупок никакая сила не могла. Всё время, что прошло до встречи с Тешковым, Гурьев провёл на книжных развалах, собирая библиотечку, в том числе по металлургическому делу. Так что чемодан получился на редкость увесистым.

– Вот не пойму всё же толком, – хмыкнул Тешков, любуясь великолепным, чистейших кровей и небывалой стати животным. – С конём-то. Ну, винтарь – ладно, тайга, она и есть – тайга. А коня-то – кто ж ходить-то за ним будет?! Этот конь – добрый, казацкий, настоящий строевской жеребец, он ить деликатного обращения требует.

– Видите, дядько Степан, сколько мне ещё узнать предстоит, – просиял Гурьев. – А вы говорите, делать нечего.

– Ну, – крикнул кузнец, – силён ты, парень! Казаком тебе всё одно не стать.

– Да я и не рвусь, – пожал плечами Гурьев. – Но, уж коли не свезло мне казаком родиться, так хоть под вашей рукой, дядько Степан, чему путёвому выучусь.

Эта грубая лесь, как ни странно, подействовала.

Дорогой Гурьев чередовал верховую езду с пересадками в подводку к кузнецу – и попрактиковался, и коня не утомил. Разговаривали они дорогой не так чтобы уж очень – Гурьев старался не надоедать вопросами, хотя его и распирало от любопытства, похоже вёл себя и куз-

нец. Впрочем, всё, что хотел, Тешков себе, в общем-то, уяснил, – и что Яков сирота, и что с самой Москвы сюда добрался. И то, что есть у хлопца резоны не шибко перед каждым встречным-поперечным душу нараспашку держать, тоже понял Тешков без подсказки.

До Тынши они добрались за два дня без особенных приключений – только раз пролетел аэроплан с красными звёздами на крыльях, – не совсем над ними, чуть в стороне. Проводив крылатого разведчика долгим взглядом, Тешков смачно плюнул и шёпотом выругался, а Гурьев улыбнулся.

Войдя в избу, Гурьев поздоровался, но на образа, в отличие от хозяина, креститься не стал – притворяться так глубоко в его планы отнюдь не входило. Хозяева, похоже, эту странность отметили, но виду не подали. Курень у Тешковых был просторный, нашёлся угол и Гурьеву. Тешковы девчонки, несмотря на то, что вроде как не по возрасту ещё было им на парней заглядываться, делали это вполне беззастенчиво – пока отец на них не цыкнул. Разговорелись, чем Бог послал, хозяйка затопила баню. Тешков так отходил гостя веником, что Гурьева с непривычки даже слеза прошибла. Он тоже в долгу не остался, но кузнец, кряхтя, только подзуживал: «Наддай, Яшка, ещё! Ох! Эх... Хорошо!» Из бани вышли расслабленные, умиротворённые, за едой маханули по стопочке. Этим вечером разговаривали мало – мужчины порядком устали, и спать легли пораньше.

Наутро кузнец показал Гурьеву своё хозяйство, инструменты, а потом, как будто бы и невзначай, спросил:

– Чем тебе образа-то наши не угодили? Ты кержак, что ли, Яшка? Или хлыст какой? Чего без креста-то?

– А что крест, дядько Степан, – Гурьев вздохнул. – Вон, шлыквцы-то, – небось, крестятся на каждую маковку церковную за три версты. А сына у вас со двора свели, ровно татарва или большевики какие. Не война ведь, что толку теперь кулаками махать, коли драка кончена?

– Ты в политику не лезь, парень, – насупился Тешков. – Не нашего ума дело.

– Нашего, дядько Степан, – тихо проговорил Гурьев. – Теперь всё – нашего ума дело. Потому как все остальные словно с этого самого ума походили. Но это – попозже, когда осмотримся. А с крестом... Крест, дядько Степан, он ведь и внутри может быть. Не обязательно снаружи.

Тынша. Август – сентябрь 1928

Весть о том, что Тешков себе парня из самого Харбина приволок и в кузне пристроил, по станице разлетелась мгновенно. Народ со всех четырёх дюжин дворов – в первую голову, конечно, бабы да девки, как самые любопытные и нетерпеливые – ходил на тешковского работника поглазеть. Под каким-нибудь благовидным предлогом, конечно же, – а хоть бы и ухват поправить. Кузнец только усмехался в бороду.

Парень ему нравился. В работу Гурьев вцепился, как клещ, да и не одно лишь это. Тешков был, без сомнения, не только мастером, но и художником своего дела, правда, времени проявлять свою художественную натуру находилось у него не так чтобы уж очень много, – жизнь и быт одного на полдюжины станиц кузнеца мало изыскам способствует. Да и теоретическая подготовка Степана Акимовича, мягко говоря, оставляла желать много лучшего. Вот тут Гурьев со своими книжками и недетской хваткой оказался весьма впору и кстати. И учил его Тешков, как родного.

– Ты железо не бей, не крути понапрасну-то. Оно этого не любит. Железо доброту понимает и уважение. Ты его уважь, терпение имей, значит, оно тебе и откликнется, покажет, значит, рисунком-то, какое ему обращение требуется. Уяснил, или как?

Чудной он, конечно, думал Тешков, однако работающий, и всё на лету схватывает. Голова светлая, нечего сказать. Чудной, чудной, однако. Горилку не пьёт, табаком не балуется, за девками не волочится, сядет в уголке, да сидит истуканом – час да другой. Опять же, фасон какой взял – в лохани, что ни день, плещется, и не лень ему воду да дрова таскать? Одно слово – нехристь. Вот только глаза попортит, как пить дать – где ж это видано, чтоб читать столько?! Книжек басурманских в Харбине набрал – видимо-невидимо. Как он эти каракули разбирает, тошно ж от одного взгляда на них делается!

Читал Гурьев действительно много. Уставал, в общем, не больше, чем при обычных своих нагрузках и тренировках. Спал три-четыре часа, а всё остальное свободное время посвящал книгам, – наставлениям по рудному делу и Лао-Цзы, Миямото и Клаузевицу. Бессистемным это чтение могло показаться только со стороны. На самом деле система в его литературных пристрастиях очень даже присутствовала.

Народ в станице, как и во всём Трёхречье, жил, конечно, разный. Но в желающих научить новичка вольтижировке, верховой езде по-казацки, без шпор, одной только нагайкой управляясь, и настоящему казацкому искусству владения клинком недостатка не было. Да и не только в этом. Взять, к примеру, арапник, – плётка и плётка, а в умелых руках не хуже шашки будет. И эта наука тоже кстати пришлась. Место своё Гурьев обозначил сразу, и оспаривать его – после того, как несколько самых буйных забияк как следует наглопались мелкой, как пудра, пыли – охотников не находилось. Тем более, что на станичных посиделках Гурьев редким гостем объявлялся, да и то – зубы скалил, однако жениться не торопился. Всё больше в кузнице, по хозяйству да за книжками пропадал. Пару раз шумнул даже на него Тешков: чего сычом-то сидишь, молодняк вон гуляет, и тебе не зазорно, чай! Гурьев только отшучивался: извините, дядько Степан, у меня Серко не чищен со вчерашнего, да я лучше в баньку, ежели вы не против. Да и Марфа Титовна с ног сбилась, надо помочь, то да это, хозяйство нешуточное. Конечно, был он по крестьянским понятиям городской и неумеха – ни с упряжью управляться, ни печь растопить, ни, к примеру, корма задать коню. Да мало ли каких ещё в деревне настоящих мужских занятий и дел? Но это только первые несколько дней. А потом... Прошло совсем немного времени, и Гурьев как-то почти незаметно вписался в размеренный казацкий быт. Он брался за любую работу и быстро овладевал навыками, – великолепная моторика и развитая подготовкой Мишимы природная ловкость и сообразительность давали Гурьеву множество преимуществ. Способного, ровного и обходительного в обращении, хотя и непривычно грамотного и

всё ж таки немного, на нездешний манер, странноватого хлопца зауважали. Гурьев отчётливо понимал – тому, чему он научится у этих людей, он не научится больше никогда и нигде. И он учился, – как всегда, жадно и с удовольствием. И люди это чувствовали. А кое-кто и не в шутку задумываться начал, каким макаром его в женихи заполучить. Тем более, что станичные девки на него всюю уже заглядывались, – и собой куда как хорош да статен, и с ремеслом будет, и почём зря не лапает, слова ласковые говорит, ежели рассказывать чего примется – заслушаешься так, что и не упомнишь, на каком свете, глаза ясные, глядит спокойно и весело, а уж на кулачках-то с ним сходитья – давненько поднатчики подчистую повывелись. Всё про себя очень хорошо понимая, опасался Гурьев не на шутку какую деваху станичную собой присушить, – дело молодое, кровь играет, и не захочешь, а... Потому и на посиделки не рвался. А всё равно, станица – та же деревня, совсем-то не спрячешься. Только и оставалось, что скалить зубы в улыбках да отшучиваться. Так и зацепилось: в глаза – Яков да Яков, а втихаря – Яшка-Солнце. Ну, да на такое и обижаться грех.

Он и сам не оставался в долгу. Учил станичных хлопцев кое-каким штукам из своего арсенала. Охотно и уважительно слушал стариков, не отказывался почитать вслух, обстоятельно и с выражением, если просили, мнение своё без спросу не высовывал, в рассуждения не лез и превосходства своего, эрудиции не показывал ни словом, ни видом. Всё это было пока ещё просто очередным, волнующим приключением, вживанием в новый, незнакомый мир, – совсем как когда-то на уроках сэнсэя. Вот только возврата в привычную действительность не было. Гурьев старался не думать об этом подолгу. Мальчишки, вечно сующие свои носы куда ни попадя, подглядывали за ним, а Гурьев и не пытался по-настоящему таиться. С ребятей он тоже занимался с удовольствием, которого в себе до сей поры не замечал. Наставник заблудших, усмехался он про себя. Только теперь, – здесь и сейчас, – начала складываться у него в голове более или менее стройная методическая система, при помощи которой станет возможным передать обычным людям часть знаний, например, науку рукопашного боя, не углубляясь в этику и то, что непосвящённые могли бы принять за мистику. Так поступили когда-то, ещё до начала времён, первые Наставники и Хранители, рассеяв знание среди тысяч и тысяч, предвидя, что настанет час того, кто соберёт капли в единый сосуд. В конце концов, он ведь дал Городецкому слово, что не оставит его одного.

Гурьев много тренировался, благо было с чем, на чём и с кем. Его подготовка вряд ли оставляла желать лучшего, хотя он исправно следовал заветам учителя: тот, кто доволен собой – покойник. Основные казацкие премудрости он преодолел относительно быстро. С конём, Серко, они притёрлись тоже без особых трудностей, и понимали друг друга с полувздоха. Благо, Серко, к счастью, оказался не избалованным ипподромным строптивцем, – прошёл настоящую кавалерийскую школу, насколько это вообще возможно теперь в Харбине. Гурьев от него не отходил – чистил, кормил, вываживал, таскал для любезного дружечки всегда лакомства в кармане – хлеб с солью, сахарок, на ласковые слова не скупился. Конь к нему привязался, что твоя собачонка. Да и угадка Гурьева насчёт уместности Серко в станичном хозяйстве оказалась – правильнее не бывает. Поначалу, правда, пошептались казаки, – откуда у неизвестного хлопца деньжищи на эдакое баловство, однако скоро забыли, – отходчивый народ в Тынше, не шибко злопамятный.

Несколько сложнее обстояло дело с оружием. Обыкновенную казачью пашку Гурьев не то, чтобы забраковал, – грамотно изготовленный златоустовский, тульский или кавказский клинок ничем не уступал своим японским собратьям. Но, – уж очень узконаправленным был, что ли. В основном для конного воина приспособленным. Гурьев отковал себе меч, с узким, уже, чем у привычной пашки, клинком ровно в пятнадцать вершков, почти прямой и с другой рукоятью – хоть и длинной, в три кулака, но более пригодной для верховых упражнений, и

носил его за спиной, как цуруги.⁴ Пользуясь благосклонностью Тешкова, Гурьев весьма значительно продвинулся в освоении кузнечного мастерства. И так рубал лозу да чурбачки деревянные, – из любой позиции, с обеих рук, что старики-казаки, наблюдавшие за его усердием, одобрительно качали головами. И если не признали ещё окончательно своим, то за чужака уж точно держать перестали.

Совсем другая жизнь, думал Гурьев. Другой мир. Не хуже, не лучше, не праведнее, не правильнее – просто другой. И так же полон своих сложностей и столкновений, – при всей кажущейся простоте. А смысл Равновесия – хранить и создавать, а не рушить миры. И этот мир имеет своё место, свою долю, своё предназначение во Вселенной.

Он их полюбил, и произошло это тоже незаметно. Но произошло, и новое это своё переживание Гурьев отметил. И отметил, что боль стала понемногу утихать.

По воскресеньям, а иногда и субботу захватывая, он садился на своего Серко и уезжал подальше – в разных направлениях от станицы, наблюдая окрестности, присматриваясь ко всему, что окружало его, чувствуя себя не то Ермоловым, не то Пржевальским, добираясь иногда до самых отрогов Хингана. Места были удивительные, красоты неопишуемой... Но не только красотами пейзажа любовался Гурьев. Та военная жилка, что раньше билась в нём лишь жадным интересом к описаниям древних сражений, теперь проявилась иначе. Он вдруг поймал себя на мысли, что всё здесь ощущает опять, как своё личное пространство, что сознательно и не очень размышляет над тем, как сделать его безопасным. Безопасным, в том числе, и в совершенно утилитарном, тактически-практическом смысле, – отмечая, где выставить бы секреты, где пустить бы конный разъезд для охраны, прикидывая, какие переправы годятся для перехода, какие нет, где и как напоить лошадей, как спрятать отряд разведчиков в распадке, и что хорошо бы на этих сопках закрепить, тогда вся долина до самого поворота реки как на ладони. Этим своим мыслям он сам иногда посмеивался, но чушь их всё-таки не считал.

Он просто влюбился в этот кусочек России. Осколок России. Вся Россия была бы такой, думал Гурьев. Вся страна, от Архангельска до Кушки, от Гродно до Сахалина. За что так ненавидит большевистская нечисть этих людей, что захотела извести их под корень, чтобы даже воспоминания от них не осталось? Они ведь ни у кого ничего не просят. Только не лезьте в их жизнь, только дайте им воли немного – совсем немного, на самом-то деле. Что же это такое, зачем, – бей своих, чтоб чужие боялись?! Ради чего?!

⁴ Цуруги – длинный прямой обоюдоострый меч, основное оружие японских воинов примерно до конца III века н. э.

Тынша. Сентябрь 1928

Она появилась на пороге кузни рано утром, едва только Гурьев успел развести огонь в горне. Поздоровалась и спросила, улыбаясь так белозубо и ясно, что он и сам улыбнулся.

– Что, нету ещё дядьки Степана?

– А я не помогу? – Гурьев обтёр ветошью руки, поправил зачем-то кожаный жёсткий фартук.

Ему очень нравилось её имя – Пелагея. Правда, видел её Гурьев нечасто, а уж разговаривать и вовсе не доводилось. Как кстати нам на помощь приходит его величество случай, подумал он. А впрочем, случайностей, как известно, не бывает.

– Ну, глянь, может, и справишься, – милостиво разрешила она, рассматривая его с явным любопытством, но ласково. – Кажись, рессора на бричке треснула.

Он вышел из кузни. Щегольская бричка-одноколка, с красными ободами колёс, уместная скорее в каком-нибудь дачном посёлке под Питером, нежели здесь, запряжённая тонконогой кобылкой с ухоженной и коротко подстриженной гривой и тщательно расчёсанным хвостом, стояла во дворе. Гурьев нагнулся, осматривая рессору. В это время и появился кузнец. Гурьев совсем рядом услышал его голос:

– Чего тебе, Пелагея?

– Да вот, дядько Степан...

Кузнец, сердито отстранив Гурьева, склонился у колеса. И тут же выпрямился, недовольно бурча:

– И где ж тебя на ей нелёгкая носит?! Третью рессору за лето, туды твою растуды! Яшка, помоги кобылу-то выпрячь. К полудню управимся, дай Бог. Иди ты, иди, Христа ради, Пелагея. Не мешай, без тебя работы хватат!

– Кто она? – спросил Гурьев, когда женщина скрылась за воротами.

– Пелагея-то? Известно, кто, – буркнул Тешков и, посмотрев на Гурьева, усмехнулся. – Повитуха она и траву заговаривает. И вообще ведьма, – кузнец опять усмехнулся. – Что, глянулась?

– А то, – просиял Гурьев.

– Ты смотри, – погрозил ему кулаком Тешков. – Ты от ей держись, парень, подальше. Не ровен час...

– Отчего же? – Тешков уже знал эту улыбочку, – когда Гурьев так начинал улыбаться, это означало... Что-то это непременно означало, одним словом. – Муж ревнивый?

– Да нет у ей никакого мужа, – сплюнул в сердцах на землю Степан Акимович. – Ведьма она, говорю ж тебе русским языком, парень...

– Ну, ведьма, так ведьма, – согласился Гурьев. – Так вы же знаете, дядько Степан, я жуть какой любопытный. Вдруг и у меня выйдет траву заговаривать?

– Заговорит она тебе корень, попляшешь тогда, – пообещал Тешков.

– Это как? – заинтересовался Гурьев.

– А вот заговорит – тогда узнаешь, – совсем уже непонятно сказал кузнец. – Я тебя упредил, Яшка. Гляди! Лет-то тебе сколько?

– Сколько ни есть – все мои, – отшутился Гурьев.

– То-то. Я смотрю, ты девок сторонисься, – прищурился Тешков. – А Пелагея... Давай, работа стоит, хватит лясы точить!

* * *

Гурьев подъехал на исправленной бричке к воротам, стукнул в них негромко обушком нагайки. Услышав голос Пелагеи, спрыгнул с козел, помог женщине распахнуть створки, завёл экипаж во двор:

– Принимай работу, хозяйка.

– Должна я чего? – Пелагея опять его разглядывала, из-под руки на этот раз, потому что голову ей запрокинуть пришлось.

Гурьев тоже смотрел на неё. Была бы Пелагея городской барышней – не задержался бы он с заходом. А так... И понравилась она ему по-настоящему: косы чёрные, короной на голове уложены, и платка никакого нет, глаза тёмные, словно угли горячие. Сложена Пелагея тоже была отменно – тело гибкое, сильное, а кость – не по-крестьянски лёгкая. Что-то было в ней, не то цыганская кровь, а может, и персидская, – сколько разных чудес да историй в казачьей вольнице случалось, только держись.

– А как же, – Гурьев улынулся отчаянно. – Один поцелуй.

– А не рано ль тебе с бабами-то целоваться, – рассмеялась Пелагея. – Не боишься меня?

– Так разве укусишь, – пожал он плечами.

– Ну-ка, пригнись, – нетерпеливо поманила его Пелагея. – Или на скамейку мне встать?!

Гурьев легко поднял её, – так, что женщина ахнуть едва успела, – поставил на подножку брички и приник губами к её губам. И целовалась Пелагея тоже никак не по-девичьи. Оторвавшись от неё, Гурьев шумно вдохнул полной грудью и опять улынулся.

– Нахальный, – не то одобряя, не то осуждая, потрепала его по затылку Пелагея. – Ох, и нахальный же!

– Есть немного, – не стал отпираться Гурьев. – А правду сказывают, что ты травы заговариваешь?

– А тебе что?!

– Меня научи.

– Ишь, чего захотел. Не мужицкое это дело! Ты разве не в кузнецы наметился?

– Я до всякой науки жадный.

– Недосуг мне, – нахмурилась женщина и только теперь сделала попытку убрать ладони Гурьева со своей талии. – Пусти, ну?!

– Не пушу, – он перехватил её руку, поцеловал сначала в запястье, потом в ладонь и почувствовал, как Пелагея вздрогнула, – еле заметно, но вздрогнула, и задышала чуть чаще. – Так что, научишь? А пойдёшь за травами, меня возьми с собой. Вдвоём веселее. А, Полюшка?

– Скорый какой, – и снова не понять было, то ли нравится ей это, то ли не слишком. – А кузня как же?

– Ты соглашайся, Полюшка, – усмехнулся Гурьев. – А с дядькой Степаном я договорюсь как-нибудь.

– Ну, согласилась, – Пелагея смотрела на него сверху вниз. И вдруг ловким движением сбросила его руки, чуть оттолкнула. – А дальше что ж?

– Дальше увидим, – Гурьев отступил ещё на полшага, подал ей руку, помогая сойти с брички. – Я приду, как в кузне закончу. Ты подожди, Полюшка.

Он ушёл на закате. Тешков ничего не спрашивал, пока Гурьев собирался, – всё без слов было понятно. Поворчал, но больше для виду.

Курень у Пелагеи был немаленький, хоть и жила женщина одиноко. Двор только небольшой, огород – тоже, из живности одних кур держала, а из скотины – кобылку, ту самую, что в бричку запрягала. Даже коровы не было.

– Да на что мне корова, – отмахнулась на его вопрос Пелагея. – Да и недосуг, говорю же. Когда за скотиной-то ещё ходить, – пока станицы окрест объедешь! А ты что ж, вправду травному делу учиться надумал?

– А то. Да я и тебя тоже кое-чему научить могу.

– Целоваться, что ль? – посмотрела на него Пелагея.

– Ну, и за этим не станет, – спокойно ответил Гурьев. – Смотри вот, Полюшка.

Он показал ей несколько точек, нажимая на которые, можно было достаточно эффективно снимать боль, и точки резонанса:

– Но тут, Полюшка, долгое воздействие требуется. Если боль снять – пяти минут достаточно, то для пробуждения жизненных сил недели нужны, а иногда – и месяцы.

– Похоже китайцы-то лечат. Однако у тебя по-другому как-то. Где ж это ты узнал-то такое?

– Выучился, – улынулся Гурьев.

– Сколько годков-то тебе, Яша?

– Дело не в возрасте. Меня этому с детства один мудрый человек обучал. Только я ещё так мало знаю. Вот, все секреты дядьки Степана выведаю, да дальше учиться поеду.

– Ежели я тебя отпущу, – тихо проговорила Пелагея, обвивая его шею руками.

Он только теперь ощутил, как соскучился по женскому телу и ласке. Это было, как взрыв, как буря, что налетает внезапно и яростно. Только он не спешил никуда. И лишь тогда, когда Пелагея взмолилась – не голосом, руками, ногами, потянув его на себя, – ворвался в неё, такую горячую, что разум не выдержал, отключился.

– Бесстыжий, – шептала Пелагея, целуя Гурьева. А он лежал и улыбался, как последний дурак. – Ох, бесстыжий охальник... Яша... Люб ты мне...

– И ты мне, – Гурьев провёл ладонью по её спине, так, что Пелагея вздрогнула длинно. – Ты такая красивая, Полюшка.

– Никуда не пущу... Мой...

Он не ответил, мягко отстранил женщину, перевернул на спину, развёл в стороны её руки, обвёл языком, мокрым и тугим, вокруг её сосков, – Пелагея застонала, выгнулась ему навстречу.

Она лежала, вжавшись головой Гурьеву в плечо, и ловкие её пальцы скользили по его груди. Пелагея подняла лицо, осветившееся улыбкой:

– Пойду баньку затоплю.

– Не устала ты, Полюшка?

– Уморить меня вздумал?! – тихонько рассмеялась Пелагея. – Подрасти малость, нахалёнок! Шучу, Яшенька, шучу я. Не сердись. Ох, да люб же ты мне...

В бане, при свете лампы, пускай и не слишком ярком, Пелагея разглядела его как следует. Гурьев увидел удивление на её лице, усмехнулся:

– Что, Полюшка? Не видала прежде обрезанных?

– Всяких видала, – отрубила Пелагея, – чай, не первый день на свете живу! А ты-то – татарин, что ли?! Ведь не похож совсем.

– Это, Полюшка, иногда в природе случается, – пояснил Гурьев. – Моисей, пророк, тоже обрезанным родился. Аврааму вот не повезло – пришлось на девяносто девятом году жизни такую деликатную операцию производить.

– Ишь ты – Моисей, – задумчиво повторила Пелагея и улыбнулась. – А то слышала я, что ты нехристь.

– Нехристь я, нехристь, Полюшка. Кто в городе живёт, в церковь не ходит да не постится – тот и есть нехристь, конечно.

– Но крещёный же ты?

– Нет.

- Как же это?!
- А так, Полюшка.
- Так не спасёшься ведь!
- Я?!? – изумился Гурьев. – Ох, Полюшка. Если б так просто спастись можно было – это же просто чудо, да и только. Погубить душу – минутное дело, а вот спасти... Это служба, так уж служба, Полюшка. Да ты ведь и сама знаешь.
- Нельзя ведь человеку без веры-то, – убеждённо сказала Пелагея. – Что за вера у тебя, Яша?
- Экуменист-агностик, – Гурьев наклонил голову набок.
- Книжек ты много слишком читаешь, вот что, – нахмурилась Пелагея.
- Не без этого, – Гурьев улыбнулся, рассматривая её, любясь откровенно зрелищем её тела.
- И чего уставился? Бабу голую ни разу не видал, что ли?
- Иди сюда, Полюшка, – он потянул Пелагею за руку, прижал к себе, поцеловал в ключицу. – Полюшка моя.
- Полюшка... Мать меня так звала. Угадал-то. Это мне только, или ты всем такой пожар промеж ног зажигаешь, Яшенька? Ох, нехристь ты мой...

* * *

Он ушёл под утро, почти на рассвете, когда Пелагея седьмой сон досматривала. Зашёл в кузню, переоделся, огонь в горне раздул, поковки вчерашние разложил. Вспоминал эту ночь, улыбался, – дурак дураком. Тешков появился, поглядел на него. Ничего не сказал, только головой покрутил.

К полудню шло дело, когда появилась Пелагея – с узелком и кувшином:

– Здравствуй, дядько Степан. Здравствуй, Яша, – Пелагея остановилась в проёме, словно не решаясь дальше идти. – Я вот, поснедать тебе собрала. Тут морс клюквенный, холодный. Ты поел бы, а то ускакал спозаранку-то.

Гурьев быстро ополоснул лицо, руки, взял у неё еду:

– Спасибо, Полюшка.

– Приходи, как завечереет, – тихо сказала Пелагея, украдкой поглядывая на Тешкова, что нарочито громко и с отсутствующе-озабоченным видом гремел каким-то инструментом. – Придёшь?

– Приду, Полюшка. Обязательно, – Гурьев улыбнулся и осторожно погладил её по смуглой гладкой щеке. – Не тревожься, голубка, приду я. Приду.

Когда женщина ушла, кузнец вытаращился на Гурьева, будто впервые увидел:

– Ну, парень! Это что же такое делается?! Палашка-то, – это ж всегда у ей в ногах кувыркались, а тут... Видать, колдун ты почище её-то будешь?!

– Колдовство здесь ни при чём, дядько Степан, – вздохнул Гурьев. – Просто у каждого человека своя кнопочка имеется. Нужно только знать, где она и как на неё нажать правильно.

– Вот это самое великое колдовство и есть, – кивнул кузнец.

– Чего ж замуж не берёт её никто? – тоскливо спросил Гурьев. – Она же такая...

– Вот ты и возьми, – сердито сказал Тешков. – Ведьма да нехристь, два сапога – пара. Как Егора-то её краснопузые подстрелили, ещё в двадцать третьем, так и кукует одна. И мать её, царствие небесное, такая ж была. Одна да одна. Кто ж из казаков такую ведьму, как Палашка, себе в жёны захочет? Жена, Яшка, это дело серьёзное. Это тебе не на сеновале ночами кувыркаться! А то ты не понимаешь. А ей одного всегда не хватало. И как ты её объездил, вот чего не пойму!

– А дети?

– Да каки там дети, – закричал кузнец. – Дети! Сапожник без сапог сам завсегда, а то ты не знашь. Чего не так у ней там, не моё это дело, я не фельшер. Нету, и всё тут!

– Идёмте, дядько Степан, – разом соскочил со скользкой темы Гурьев. – Хочу вам одну штуковину показать, что я со сплавом придумал. Без вашего глазомера не справиться.

* * *

Она оказалась совсем не такой, какой расписывала её молва. Просто никто никогда не догадался – или не умел – приласкать Пелагею по-настоящему, как ей мечталось, пусть и не вполне осознанно. А Гурьев – сумел. И Пелагея со всей благодарностью, на которую только была способна её яркая, сильная и отважная душа, раскрылась ему навстречу. Он даже немного испугался того всплеска чувств и чувственности, которые разбудил в этой красивой, ещё совсем молодой – особенно по столичным меркам – женщине. Пелагея была старше его на восемь лет – это по станичным понятиям «баба», а на самом деле... И Пелагея, шалея от его нежности, носила, лелеяла свою нежность к нему, светясь ею так, что глазам было на неё неловко смотреть. Конечно, Гурьеву нравилось её обожание. Нравилось ощущать себя главным, мужчиной. Гурьеву нравилось, как цветут её лицо и глаза, как даже походка её изменилась. И люди отметили эту перемену. Бабы завидовали – отчаянно, но как-то не зло. Не поворачивалось почему-то на них злобиться. Пелагею и в самом деле будто подменили – едва ли не враз: куда только что подевалось от прежней. «Яшенька... Соколик мой ненаглядный...»

Он действительно с удовольствием слушал Пелагею. А она, не отдавая себе отчёта в этом, растворялась в Гурьеве – первом в её жизни мужчине, который жадно и внимательно её слушал. Он отмечал её местами диковатые понятия об окружающем мире, но не считал себя вправе встречать с исправлениями, – даже в этой её дикости была удивительная, завораживающая его гармония. Пелагея была так восхитительно, пугающе хороша, – всегда, во всём и везде, чтобы ни делала: наводила ли глянец в доме, вышивала ли, когда выдавалась свободная минутка, раскрывала ли свои смешные знахарские секреты. Нет, он не смеялся. Он слушал. Сравнивал с тем, что успел узнать от Мишимы, удивлялся некоторым буквально поразительным совпадениям. Учился, с непонятным для Пелагеи вниманием, старался не упустить ни одного слова из её пояснений – не ожидала она такого от городского и учёного, каким казался ей некоторое время Гурьев, – вникая в детали и мелочи её умений и знаний. Она сама стала многое лучше понимать, рассказывая. Он ей объяснял, почему это происходит именно так, вырастая в её глазах ещё больше, становясь для неё ещё важнее. Иногда и сердилась на него Пелагея, не на шутку увлекаясь своей ролью учительницы:

– Да что не так-то?!

– А в прошлый раз ты это иначе рассказывала, Полюшка.

– Что с того-то – в прошлый?! То прошлый и был. Я тебе что ж, не по писаному ведь, – Пелагея, кажется, смутилась.

– Что ты, голубка, – покаянно повесил голову Гурьев. – Я ведь просто понять хочу.

– И как у тебя голова не пухнет, – улыбнулась Пелагея, запуская Гурьеву пальцы в шевелюру и ероша ему волосы на макушке. – Вот уж дотошный, беда с тобой! Нет у меня книжек-то, Яшенька. Всё, что за мамкой выучить успела, а она померла, мне ещё и двенадцати годков не исполнилось.

– А что, были и книжки? – удивлённо приподнялся, опираясь локтем на жёсткую, пропечённую солнцем степную землю, Гурьев.

– Были, а как же. Остались там, – Пелагея махнула рукой в сторону границы. – Без книжек много и не упомнишь. Как бежали за речку, так не до книжек было.

– А хочешь, я тебе привезу? – Гурьев наклонил голову к левому плечу.

– Скаженный, – улыбнулась Пелагея. – Разве найдёшь их теперь?! Сожгли, не иначе. Жалко. Ну, ничего, и так проживём.

Пелагея достала нож, который носила всегда на шейном шнурке. Гурьев и прежде видел его, но мельком.

– Дай-ка мне на кинжал твой взглянуть, Полюшка.

Он протянул было руку, но получил шлепок:

– Нельзя.

– Отчего же?

– Нельзя, говорю, да и всё! Не простой это нож. Нельзя никому его трогать чужому.

– Разве я чужой? – тихо спросил Гурьев, заглядывая ей в глаза.

Поколебавшись мгновение, Пелагея протянула ему нож рукоятку вперёд. Он взял осторожно, внимательно рассмотрел. Нож странноватый – чёрная, толстая рукоятка морёного дерева, клинок недлинный, вершка два, но обоюдоострый. И работа – так себе, прямо скажем, не блещет. Гурьев вернул нож Пелагее:

– А хочешь, я тебе новый сделаю?

– Что, мой не глянулся?

– Нет, – честно сознался Гурьев. – Ей-богу, у меня лучше выйдет.

– Ну, сделай, – кивнула, соглашаясь, Пелагея. – Может, и правда. Этот я сама точила, да, видать, не рукастая я на такое.

Нож у Гурьева удался на славу. Узкий, с неглубоким долем, обоюдоострый клинок, по форме напоминающий остролист, с полировкой, отчётливо выявляющей структуру металла, и наборной рукояткой из кожаных шайб. Он надел женщине на шею чехол, – тоже кожаный, многослойный, с защёлкой-фиксатором, что не позволял ножу выскользнуть, даже зацепившись за что-то случайно:

– С обновкой тебя, колдунья моя.

Пелагея опустила глаза, рассматривая чехол, а Гурьев любовался.

Полюбоваться, что греха таить, было чем. Он даже немножко гордился собой, – совсем чуть-чуть, потихоньку: такая женщина, – и его! Пелагея даже и не думала прятать от кого бы то ни было эту свою отныне безраздельную ему принадлежность – ни от самого Гурьева, ни от окружающих. Гурьев без стеснения принимал её знаки внимания – и вышитую рубашку, и пояс, и узелки с обедом. Это было так же естественно для Пелагеи, как дышать. Она знала о предстоящей разлуке. Ведь Гурьев спокойно и ясно говорил об этом, а Пелагея уже знала – как он скажет, так и будет. Её почему-то не волновало это ничуть. Как будто.

Тынша. Октябрь 1928

Начало месяца выдалось необычайно жаркое днём, хотя ночами иногда становилось совсем по-осеннему зябко. Старики судачили: давно такого не было, чтоб бабье лето тянулось столько... Вернувшись вскоре после заката из очередной своей «экскурсии», Гурьев вошёл в горницу, где Тешковы уже вечерять собирались, его дожидаться уставши, выложил из котомки на стол небольшой свёрток и подкрутил фитиль у лампы, чтобы давала побольше света:

– Поглядите, дядько Степан, – он развернул тряпицу. – Попадалось кому ещё тут такое дело?

Кузнец взял двумя пальцами самородок, тянувший никак не меньше, чем на две с половиной – три унции. Повертел, ковырнул ногтем, пожевал губами. И выругался:

– Ну, не было печали! Где ж ты его выкопал-то?!

Гурьев достал самодельную карту, даже не карту – кроки, показал место, пояснил:

– Больше брат не стал – припоздниться не хотелось, дядько Степан. А что, разве никто там раньше не бывал?

– Припоздниться, говоришь, – Тешков огладил бородину ладонью. – Бывал, не бывал... Плохие это места, Яшка. А год назад двое казаков с соседней станицы сгнули аккурат в этом месте. Так и следа не нашли. Лучше б ты уж Палашку за сиськи держал, что ли, чем шляться-то там!

– Одно другому не мешает, дядько Степан, – улыбнулся Гурьев. – Я завтра туда снова поеду, с самого утра.

– Нет.

– Да что вы, дядько Степан?

– Говорю тебе, Яшка, – гиблые там места!

– Это всё глупости, Степан Акимыч, – сердито, новым каким-то тоном сказал Гурьев, и как-то по-новому усмехнулся. – Я не намерен разворачивать промышленную добычу, но оставлять самородное золото просто так валяться – это, извините великодушно, просто идиотизм. Плохие места. Суеверия, и ничего больше.

Место и в самом деле было плохое – это Гурьев почувствовал и без пояснений Тешкова. Что же могло до такой степени напугать людей, чтобы они не решались даже заглянуть туда, где золото в самом прямом и первоначальном смысле этого слова валяется под ногами?! Бандиты? Но почему не увидел он нигде даже намёка на человеческий след? Такое чувство, что место это вынырнуло из небытия прямо у него, Гурьева, перед носом. Да хотя бы поэтому следует во всём непременно и тщательно разобраться, решил он.

– Ты вроде как кузнечному делу учиться приехал? Вот и учись! – хлопнул Тешков в сердцах по столу рукой. – Или золото мыть побежишь? Да и сколь его там?

– Сколько не есть – всё наше, – упрямо наклонил голову набок Гурьев. – Два дня, Степан Акимыч. Завтра и послезавтра.

За два дня он планировал собрать хотя бы самородки. Почти всё, что он успел увидеть, было чистым золотом – вкрапления кварца если и имелись, то минимальные. Из каких глубин выносила вода Тыншейки это богатство? И кто его охраняет?

– А потом что?!

– А потом – посмотрим. Песок я мыть не собираюсь. В одиночку, во всяком случае. Вы только Полюшке не говорите, изведётся вся.

– Оно и видно, что ты городской и нехристь, – вздохнул кузнец. – Это не бирюльки, Яшка. Смотри, я тебя упредил!

На следующий вечер Гурьев вернулся с двумя полными кошельками – никак не меньше шести фунтов. Одни самородки, – побольше, поменьше. Кузнец закряхтел:

– Что делать-то станешь, Яшка?

– Сейчас вот прямо – ничего, – он пожал плечами. – До следующего раза, как в Харбин поедем, пускай полежит. Есть у меня мысли кое-какие.

– Чудной ты хлопец, – помотал головой Тешков. – Это ж богатство какое!

– Да какое там богатство, – отмахнулся Гурьев. – Богатство, дядько Степан, по-другому выглядит и иначе пахнет. А это так. На булавки.

– На була-а-авки?! – опешил кузнец. – Да тут... тыщ на сорок рублёв, ежели не поболее, старыми-то! Я сроду деньжищ таких в руках не держал!

– Это ничего, дядько Степан, – Гурьев улыбнулся. – Ещё повоюем.

Весь следующий день, с того самого часа, как Гурьев уехал, ходил Тешков сам не свой, туча тучей, и работа из рук валилась. Злился на себя кузнец, а поделывать ничего не мог. Он к Гурьеву здорово за это время привязался. Уже и планы строить начал, – это хорошо, что хлопец покамест ни с кем жениться из девок станичных не тянется, пускай переберется с Пелагеей. Жениться на ней он не женится, понятное дело, а ума да опыта поднаберётся. А там, глядишь, и Настёна подрастёт. Вон как у него дело в руках горит, – загляденье. Что за шестерёнки он там куёт да тачает-то, вот интересно? Вострые, как бритва. А хлопец толковый, ох, толковый. А что нехристь... Ну, нехристь – это дело такое, поправимое. Надо к отцу Никодиму в Усть-Кули съездить, посоветоваться. Да золото ещё это, будь оно неладно!

А вот как в воду глядел Степан Акимович. И когда увидел Гурьева, подъезжающего к воротам, так и захолонуло у кузнеца сердце: криво сидел в седле хлопец, неправильно. А дальше – увидел Тешков, как выходят из темноты ещё шесть лошадей, все осёдланы, да ружьишки к сбруе приторочены.

– Эт-то... что?! – просипел одними губами кузнец.

– Принимайте трофеи, дядько Степан, – Гурьев спешился и, поблуднев, взялся рукой слева, там, где ключица.

– Марфа!!! – заревел Тешков. – А ну, бегом за Палашкой, живо!!! – подставив Гурьеву кражистое своё плечо, забормотал: – Упреждал я тебя, Яшка! Что ж ты так?! Сынок...

– Да не волнуйтесь, дядько Степан, – поморщился Гурьев. – Пуля японская, навывлет прошла, крови чуть больше натекло, чем след, это не радует. Но не смертельно, вот совершенно.

Он немного поскромничал, по укоренившейся привычке: пулю из карабина он самым позорным образом прозевал, а кроме пули, заработал ещё пару чувствительных царапин: всё ж таки многовато противников за один-то раз. И драться с дыркой в плече пришлось, – только это и мог бы привести Гурьев в своё оправдание.

– Да что было-то, расскажи толком! – взмолился кузнец.

– Хунхузы, – снова поморщился Гурьев. – Я, дурак, думал, они ближе подойдут, а они, видишь, решили подстрелить меня сначала. Ну, да я справился.

– Это как же?

– А так, – он усмехнулся. – Это службишка, дядько Степан, не служба.

– Кони-то... Ихние, что ль?!

– Так точно, – вздохнул Гурьев.

– А сами?! – уже предвидя ответ, всё-таки спросил кузнец.

– Там, – указал Гурьев подбородком в ту сторону, откуда приехал. – Лежат, касатики.

– Ну, Яшка...

– Вы коней распрягите, дядько Степан. А то сейчас вся станица сбежится.

С этим трудно было не согласиться. Однако кузнец не успел. В избу влетела Пелагея, – судя по всему, и одевалась-то в невероятной спешке:

– Яшенька... Птенчик мой... Что ж это?!

Она шагнула к Гурьеву, отчаянно закусив губу, рванула на нём рубаху... И, повернувшись к Тешковым, зарычала:

– Ну, что встали столбами?! Воду кипятите, простыню рви, Марфа!

– Успокойся, Полюшка, – мягко придержал женщину за руку Гурьев. – Не страшно. Заживёт, как на собаке.

Птенчик, подумал Тешков, глядя на Гурьева. Птенчик, – а сам-один шестерых хунхузов, что твоих сусликов, положил, видать. Шестерых ли?! Птенчик. Это что ж из него будет, когда на крыло-то встанет?!

Перевязав Гурьева, Пелагея немного утихла, хотя командирского тона не оставила:

– Идти-то сможешь, Яшенька?

– Смогу, конечно.

– Давайте ко мне его. Я выхожу, всё не в курене с дитями. Давайте ж, ну?!

Уже у Пелагеи Гурьев, цыкнув на неё, чтоб не суетилась, сам, при помощи зеркала, заштопал прокалённой иглой и шёлковой нитью длинный разрез на боку, протянувшийся через три ребра, – чуть-чуть до кости не достал ножевым штыком ловкий, как уж, китаец, похоже, знакомый с боевыми искусствами отнюдь не понаслышке. Руки даже не дрожали почти. Зато Пелагея вздрагивала каждый раз, как Гурьев продевал иглу под кожу – словно ни разу крови не видала. Порез на правой ноге он зашивать не стал – должно было зажить и так.

Утром Гурьев проснулся, когда солнце уже светило вовсю. В голове ещё немного потрескивало, но чувствовал он себя, тем не менее, вполне прилично. Пелагея, услышав, как он заворочался, быстро подошла к нему, потрогала лоб:

– Перевяжу по новой тебя сейчас, Яшенька. Вот, и снадобье уже готово, примочку положу. Эх, Аника-воин!

– Однако ж не они меня, а я их, – улыбнулся Гурьев. – Доброе утро, голубка. Зеркало принеси, Полюшка. Надо мне рану самому посмотреть.

– Да что понимаешь-то в этом?!

– Понимаю, голубка. Ты не командуй, есаул в юбке, ты зеркало неси.

Осмотрев рану, Гурьев поджал губы недовольно:

– Да-с, комиссия-с. Ты вот что, Полюшка. Бумагу и карандаш мне принеси.

– Зачем?

– Неси, неси. Объясню.

Написав несколько иероглифов на листке, Гурьев отдал его Пелагее:

– Я слышал, в Хайларе есть доктор китайский. Ты сама к нему не езжай, пошли кого. Я заплачу. Иголки мне специальные нужны и притирания. Он по этой бумажке должен всё выдать. Дня за три обернёмся?

– Обернёмся, Яшенька.

– Ну, значит, поживу ещё, – он улыбнулся и потрепал женщину по щеке.

Пелагея, закрыв глаза и всхлипнув, вцепилась в его руку обеими руками изо всех сил.

На третий день после возвращения Гурьева появился в станице урядник из Драгоценки, сотник Кайгородов. Подъехал к кузнице, окликнул Тешкова:

– Здравствуй, Степан Акимыч.

– Здоров и ты, Николай Маркелыч, – кузнец вышел на двор, пожал руку спешившемуся сотнику. – С чем пожаловал?

– Да вот, хотел с хлопцем твоим парой слов перемолвиться.

– А нету у меня его, – проворчал кузнец. – Он с той ночи у Пелагеи в избе лежит, не отходит она от него ни на шаг.

– У Пелагее-е-е-и?! Не отходит?! – ошарашенно протянул Кайгородов. – Ну, тем более, требуется мне на него взглянуть.

Они подъехали к воротам, постучали. Пелагея вышла, посмотрела на урядника и кузнеца, поздоровалась, сказала хмуро:

– Слаб он ещё. Крови много потерял, да рана гноится. Не надо б его беспокоить.

– А ты, Пелагея, власти-то не мешай, – осторожно проворчал Тешков. – Известное дело, смертоубийство. Власть интересуется, что да как. Ответить-то не отломится?

– Смотри, Маркелыч, – прошипела вдруг Пелагея, глядя на урядника горящими углями глаз. – Ежели тронешь его – я тебя со свету живу, ни дна, ни покрывки тебе не будет. Вот те крест святой, понял?! – она быстро, истово и размашисто перекрестилась.

– Ну, тихо ты, сумасшедшая баба, – отпрянул урядник. – Чего выдумала-то?! Никто хахаля твоего не собирается трогать. А поговорить всё одно надобно. Отчиняй калитку-то!

Они вошли в горницу. Гурьев сидел на стуле, в исподнем, босой, раскладывая привезённые вчера вечером из Хайлара иголки и баночки с притираниями. Обернулся к вошедшим, улыбнулся чуть запёкшимися губами:

– Здравствуйте, дядько Степан. Здравствуйте, господин сотник. Прошу извинить за непрезентабельный вид. Недомогаю. Чем могу служить?

Кузнец вытаращил глаза, – как и Пелагея. Если б он не знал точно, что это его подмастерье Яшка! Кто ж ты таков на самом-то деле, пронеслось в голове кузнеца. И заговорил-то враз по-господски, как по-писаному! Даже в простом крестьянском белье, бледный и осунувшийся, этот юноша выглядел, как...

Если б не молодость, подумал Кайгородов, руку бы дал себе отрезать, что сей господин не иначе как в гвардии служил. Белая кость, голубая кровь. И откуда взялся?! Кузнецов подмастерье. Он отдал почему-то честь и произнёс:

– Сотник Кайгородов. Здравия желаю, господин...

Гурьев назвал себя и добавил:

– Вы спрашивайте, господин сотник, не стесняйтесь. Мне, собственно, скрывать нечего.

– Позвольте документы ваши, господин Гурьев.

– Документов при себе не имею, они в моих вещах, что у Степана Акимовича остались.

Если настаиваете, могу с вами вместе туда проследовать.

– Буду весьма признателен, – прищёлкнул каблуками урядник.

– Полюшка, – Гурьев повернулся к женщине.

– Мы снаружи подождём, – добавил урядник. – С вашего позволения.

– Как угодно, – Гурьев, соглашаясь, кивнул утвердительно.

Сотник и кузнец вышли на крыльцо. Достав папиросы, большую в здешних местах по нынешним временам редкость, Кайгородов протянул одну Тешкову:

– Ты поглянь, – Полюшка! А молодой же какой! Это и есть твой подмастерье, что ли, Акимыч?

– Он самый, – буркнул кузнец, остервенело затыгиваясь.

– А ты документы-то его сам видал?

– Чего мне в его бумаги смотреть?! – разозлился кузнец. – Он меня от лихоимцев тогда в Харбине, под самых Петра и Павла,⁵ отбил, налетел, что твой ястреб. Те и пикнуть-то не успели! Вот руки-то у него, – Тешков помедлил, подбирая слово, – непонятные, это я сразу приметил.

– Кто ж он за птица такая, – задумчиво разглядывая огонёк папиросы, проговорил Кайгородов. – Знаешь, что он с хунхузами-то этими сделал?

– Нет. А чего?

– Это хорошо, что не знаешь, – усмехнулся урядник. – Крепче спать будешь, Степан Акимыч.

– А сколь их было-то? – спросил Тешков, вдруг холодея от посетившей его догадки.

– Кого?

– Хунхузов. Шестерых лошадей привёл, а...

⁵ Православный праздник Свв. Апостолов Петра и Павла, день окончания Петровского поста.

– Семнадцать.

– Чего-о?! – прохрипел, вылупляясь на Кайгородова, Тешков. – Бога-то побойся, Николай Маркельч!

– Это не мне, это хлопцу своему шепни, – скривился сотник, сосредоточенно затягиваясь дымом. – Это не ко мне. Они уж и утечь от него хотели, видать. Не дал. Всех положил. До единого.

Дверь отворилась, и на крыльце возник Гурьев, опираясь на плечо Пелагеи:

– Я к вашим услугам, господин сотник.

– Ты в бричку садись, Яшенька, – сказала женщина, бросив настороженный взгляд на урядника. – Я тебя и отвезу, а потом и назад.

– Не возражаете, господин сотник? – улыбнулся Кайгородову Гурьев.

– Отнюдь, – кинул тот, озираясь в поисках места, куда можно опустить окурочек.

– Бросай на землю, – проворчала Пелагея. – Ничего, приберу потом.

Оставив Пелагею во дворе, они втроём вошли в кузнецову избу. Гурьев шагнул к своим вещам, вытащил из подсумка метрику и протянул уряднику. Тот читал её вдоль и поперёк раз, наверное, двадцать. Наконец, поднял на Гурьева изумлённый взгляд:

– Однако! Десятого года вы, значит? – Гурьев кивнул, а сотник вернул ему метрику: – А из каких вы Гурьевых, простите моё любопытство, будете?

– Из флотских.

– Вот как. А к нам Вас какими судьбами забросило, Яков Кириллович?

Закончив свой рассказ, Гурьев виновато развёл руками:

– Доказательств я, разумеется, никаких не могу предоставить. Придётся вам поверить мне на слово. Или не поверить, это уж дело ваше.

– Почему не поверить, – сотник только теперь снял папаху, положил её на лавку. – Времена настали такие, что любая фантастическая нелепица запросто самой что ни на есть доподлинной правдой оборачивается. А с бандитами-то, с хунхузами этими, будь они неладны? Не расскажете, как вышло?

– Отчего же, – Гурьев спокойно кивнул. – Позвольте карандаш и бумагу.

Сотник с готовностью раскрыл планшет, выудил оттуда пару желтоватых листков и карандаш, и положил всё это перед Гурьевым. Тот быстро набросал кроки, обозначил позиции, свои и нападавших. Слушая его спокойный, обстоятельный рассказ, Кайгородов чувствовал, как ручеек пота прокладывает щекотную дорожку между лопаток. То, что сделал Гурьев, было невозможно. Но это было сделано, уж тут-то урядник никак сомневаться не мог. Тешков слушал, прищурившись. И молча.

– А... Что, обязательно нужно было с ними вот так-то? – осторожно спросил Кайгородов, когда Гурьев закончил.

– Да не было у меня времени антимионии с ними разводить, – поморщился Гурьев. – Мне требовалось узнать наверняка, нет ли другого отряда поблизости. Это первое. Не хватало ещё в станицу их на хвосте у себя притащить. А второе, – Он посмотрел на урядника, усмехнулся вдруг незнакомо и так страшно, что Тешков обмер, а Кайгородов за ус схватился и шеей крутанул до хруста. – Что, пошёл уже слушок-то?

– Пошёл. Ещё какой, – закричал сотник.

– Вот и хорошо. Авось, поубавится порядком желающих продемонстрировать грабительское мастерство да удалство перед бабами да ребятишками. А ведь это они Потаповский хутор сожгли, разве нет?

– Они, судя по всему, – качнул головой сотник. – Ружьишко вот, похоже, Ивана Матвевича, – Он вздохнул, перекрестился: – Упокой душу рабов Твоих, Господи. – И снова перевёл взгляд на Гурьева: – А какие планы у Вас на будущее, Яков Кириллович?

– Да вот, – Гурьев опять досадливо дёрнул подбородком в сторону, – рана давала о себе знать. – Как поправлюсь, буду дальше кузнечное дело постигать, если Степан Акимович не прогонит. Перезимуем, а там посмотрим.

– Понятненько, – протянул Кайгородов, – понятненько. И последний вопрос, Яков Кириллыч, если позволите: за каким лядом вас туда, собственно, понесло?

– Да мальчишество, конечно, Николай Маркелович, – не дрогнув ни единым мускулом на лице, сказал Гурьев. – Понимаю и раскаиваюсь. Но как же без карты в этих местах? Да и вообще – лавры Арсеньева⁶ покоя, знаете ли, не дают.

И только-то, усмехнулся про себя Кайгородов. Так я тебе и поверил. Что ж ты за молодец такой – у самого чёрта из зубов выдрался, да ещё и с добычей?! Кто ж тебе так ворожит – разве Пелагея? Да куда ей, деревенской бабе... Нет, не простой ты молодец, не простой. Недаром люди говорят – ох, недаром...

– Ну, что ж, – сотник поднялся. – В таком случае, желаю поправиться поскорее. Какие-нибудь просьбы ко мне имеются?

– Оружие бы оставить, Николай Маркелыч. Обстановка, сами знаете, беспокойная, каждый ствол на счету будет, если что.

– Да ради Бога, – пожал плечами сотник. – И всё?

– Всё, – улыбнулся Гурьев и тоже поднялся.

Они вышли на крыльцо вместе. Увидев лица мужчин, Пелагея тоже лицом посветлела и, отвернувшись, мелко перекрестилась украдкой.

Попрощавшись с урядником, Гурьев сел в бричку:

– Поехали домой, Полюшка.

– Всё хорошо, Яшенька?

– Ну, хорошо или нет, не знаю. А вот беспокоиться совершенно точно не о чем.

Пелагея улыбнулась, потёрлась щекой о его плечо и подняла вожжи:

– Н-н-но, залётная!

Проводив бричку долгим взглядом, Тешков, торопливо крестясь, пробормотал:

– Ну, Яшка. Силён! Етить-колотить, прости-Господи, что же это такое делается-то?!

* * *

Две недели Гурьев проходил, весь в иголках, словно дикобраз, а потом рана начала затягиваться, и быстро. С иголками доктор-китаец не подвёл – правильные иголки, золочёные, самому таких сразу, без раскачки, ни за что не изготовить... Жалко, всё наследство Мишимы пришлось оставить в Москве. Доведётся ли вернуться? И когда?

Авторитет Гурьева взлетел – страшно сказать – до недостижимых высот. Шутка ли – почитай, свой, кузнецовский, – и банду хунхузов, которые не один год округу своими набегами в напряжении держали, завалил, ровно они бараны какие. Болтали, правда, ещё вдогонку всякое, – что, мол, порубил их в шматки хлопец, кишки в речку выпустил да наматывать их, живых ещё, заставил. Ну, мало ли чего люди со страху да ради красного словца наплетут. А Гурьев, вместо того, чтобы подвиги свои расписывать, едва оклемавшись, с дозволения станичного атамана снарядил старательскую экспедицию к невзначай открытому им «прииску». Всё, что ни делается, как известно, делается к лучшему. Добытое золото к середине ноября обернулось школой с молоденькой учительницей, выпускницей Харбинских учительских курсов, а после Крещения – дизель-электрической установкой, от которой заработали мельница и маслобойка. Казаки постарше учтиво раскланивались с Гурьевым, девки и бабы шептались, Пелагея цвела

⁶ Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930) – исследователь Дальнего Востока, этнограф и писатель.

от гордости и счастья. Ей, кажется, даже завидовать перестали. Какая уж тут зависть! Тынша гудела, и жизнь, не смотря ни на что, налаживалась.

Тынша. Зима 1928

На месте раны осталась только маленькая белая звёздочка. Гурьев окреп – в плечах раздался, да и подрос ещё немного, похоже. Одежда маловата стала, пришлось в Хайлар съездить. Он по-прежнему работал у Тешкова, но жил теперь постоянно у Пелагеи. Полюшка...

Гурьев проснулся оттого, что почувствовал – она плачет. Тихо-тихо, неслышно почти. Он резко сел, обнял женщину за плечи:

– Что с тобой, Полюшка? Что, голубка моя?

– Ох, Яшенька, – она, всхлипнув, уткнулась головой ему в грудь. – Яшенька, люб ты мне...

– А плакать-то зачем? – улыбнулся Гурьев, глядя её по волосам. – Ну же, будет, будет, Полюшка.

– Старая ведь я для тебя, – Пелагея вскинула к нему лицо. – Старая, да и порченная, родить не смогу я... Яшенька, сокол мой... Присынается он мне, слышишь? Сыночек будто твой, на тебя будто капелька похожий. Я с ним в дорогу будто шагаю, а он у меня о тебе спрашивает. Ох, Яшенька!

– Опять ты взялась, – Гурьев вздохнул. – Говорил же я тебе, Полюшка. Я тебя люблю ведь, глупая. Я с тобой. Здесь и сейчас. А что через день будет, то никому неизвестно.

– Ты такой молодой ещё, Яшенька! Смотрю на тебя, не пойму я этого никак. По лицу – совсем ты мальчишечка ещё. А по разговору – будто лет сто тебе, не меньше. Я сама себя девчонкой подле тебя чувствую...

– А мне нравится.

– Тебе хорошо говорить... Сел да и поскакал, куда глаза глядят... А мне-то?! Да и не пара я тебе. Думаешь, я не понимаю?! Ты ведь из благородных, вон ведь как вышло. А я?!

– А ты – казачка, – он притянул Пелагею к себе ещё ближе. – Да выкинь ты всё это из головы. Благородство – не по крови меряется, Полюшка. По душе.

– Вот. А я про что?!

– Ну, а раз так – то ты не меньше, чем королева, – со всей серьёзностью, на какую был в эту минуту способен, проговорил Гурьев, заглядывая в её расцветающие глаза. – Так-то, голубка моя. Спи. Вставать ещё тебе затемно.

– Ох, Яшенька, светик ты мой ненаглядный, – вздохнула прерывисто Пелагея. – Совсем я дурой-то с тобой сделалась. Что ж это такое-то, Господи! Слова твои сладкие слушала и слушала б день и ночь! Ты люби меня, Яшенька, я ведь без тебя не живу...



Тынша. Февраль 1929

Незадолго до Масленицы, в самую субботу мясопустную вдруг влетел в избу маленький Тешков, закричал звонко:

– Шлыковцы! Тятя, и Федька-то с ними, наверно!

– А ну тихни, – поднялся из-за стола кузнец. – Вот ещё напасть-то!

– Не люб вам атаман? – Гурьев пригладил сильно отросшие волосы.

– А за что мне его любить-то? – сверкнул глазами Тешков. – Лютовать будет. Потрепали его красюки за речкой.

– Здесь лютовать? – приподнял брови Гурьев.

– А где ж? – усмехнулся Тешков. – И корми его, и пои, ероя нашего. Шёл бы ты, Яков, к Палашке-то, от греха!

– Ну-ну, Степан Акимыч, – наклонил голову набок Гурьев. – Такое событие мне никак пропустить невозможно.

Фёдор вошёл в горницу, перекрестился в красный угол, обнял мать, сестрёнок, отцу поклонился в пояс. Посмотрел на Гурьева немного настороженно:

– Ну, здорово, что ли?

Гурьев улыбнулся открыто, шагнул навстречу. Они пожали руки друг другу, встретились глазами. Улыбнулся и Фёдор – скуповато, как умел. На отца похож, подумал Гурьев. Это радует.

Сели вечерять, разговор пошёл о жизни в отряде. Гурьев наблюдал за парнем и пока не вмешивался. Когда выпили по второй стопке чистейшего первача, спросил:

– А что, Фёдор, – по нраву тебе походная жизнь?

– Не жалуемся, – уклончиво ответил младший Тешков.

– Ну, жаловаться казаку на службу грех, – кивнул Гурьев. – А вот ежели отпустит тебя Иван Ефремыч, останешься? Я-то ведь поеду скоро по своим делам, дальше. Пора и честь знать, как говорится. А кто же работать будет? Да и матушка Марфа Титовна тоже, чай, не железная. Пора ей невестку в помощь привести.

– Чего молчишь-то, Феденька? – подала голос Тешкова.

– Осади, Марфа, – буркнул кузнец. – Не лезь в разговор мужицкий! Ты что задумал, Яков?

– Задумал, дядько Степан. А ты ответь мне, Фёдор. Потому как без твоего ответа все мои задумки ни к чему. Так что? Остался б?

Фёдор посмотрел на родителей, на Гурьева:

– Ну. Ну, остался б. Так это ж как можно-то. Никак нельзя, – он вздохнул, опустил голову.

– Ясно, – Гурьев прищурился. – А что, где Иван Ефремыч-то сам?

– У атамана станичного. Ты что задумал такое, Яков?! Ты того, не дури!

– А мы его утром в гости пригласим. И узнаем, чем дышит славный атаман Шлыков. А, дядько Степан?

План у Гурьева давно на этот счёт был готов. Отчаянный такой план.

За время своего «Тыншейского Сидения» Гурьев успел передумать массу вещей. Всё, что успел высказать Городецкий, иногда сбивчиво, иногда непоследовательно, перескакивая с предмета на предмет, с темы на тему. Гурьев неплохо представлял себе расклад сил в советской верхушке, – во время бильярдных и карточных баталий, а то и пьяных и не очень откровений, просто по привычке держать ухо востро, фиксировал сведения, часто не задумываясь об их значимости и роли в конфигурации политических течений и связей. Осмысливал позже. Кровавая возня. Операции ГПУ и коминтерновские экзерсисы вызывали сложные чувства: поражала наивность прославленных белых генералов и руководителей, удивляла беспримерная наглость чекистов и странная лёгкость, с которой они склоняли на свою сторону благополучных,

по сравнению с советскими людьми, жителей Европы и Североамериканских Штатов. И это тоже включало тревожный сигнал. Гурьева, с детства знакомого, благодаря урокам Мишимы, с правилами и законами тайных операций и их роли в вооруженной борьбе государств и народов, изумляла та беспечность, с которой все вокруг относились к большевикам и планам последних. Эфирная анестезия, да и только. Экономические неурядицы так на них действуют, или что-то ещё? И сама эмиграция оставалась для него пока что пустым звуком, собранием кукол из папье-маше, не наполненных живой плотью и кровью мыслей, дел, интриг и столкновений. Да, имена, безусловно, были у Гурьева на слуху: и местные, дальневосточные – Дитерихс, Хорват, Семёнов, и те, далёкие – Врангель, Деникин, Кутепов. Что мог он знать о них? Никакого анализа – серьёзного анализа – доступные большевистские источники не давали, а к недоступным, выражаясь суконным языком казённых тавтологий, у Гурьева не имелось доступа. Да и не думал он обо всём этом вот так, конкретно, вообще никогда, можно сказать, – пока не погибла мама и не ворвался в его жизнь Городецкий со своими людьми. Неужели я допущу, чтобы смерть Нисиро-о-сэнсэя оказалась напрасной? Нет. Ни за что. Что же мне со всем этим делать теперь?!

А делать-то – надо.

Шлыков не мог, конечно, устоять перед любопытством. Хоть и пил, почитай, всю ночь, а пришёл. Ввалился в избу, рыкнул с порога:

– Ну, где?!

Хозяева захлопотали, усадили грозного гостя. Он скинул полушубок на руки Тешкову, оставшись в полевом мундире с погонями, громыхнул ножнами, умащивая шашку поудобнее, огляделся.

Гурьев вышел ему навстречу. И снова ошалел кузнец. Не иначе, он и вправду – не то колдун, не то оборотень, оторопело подумал Тешков. А не то – забирай выше. Он сам, да и всё его семейство привыкли к Гурьеву домашнему, вполне своему, такому, – обыкновенному. А тут... Будто свет от него идёт. И сабля эта ещё. Такая.

– Здравствуйте, господин есаул, – Гурьев странно, легко и как-то текуче, опустился на лавку напротив Шлыкова, улыбнулся беспечно, поставил меч в ножнах между колен, положил на рукоять подбородок. – Премного о вас наслышан и рад увидеть вас наконец-то воочию.

– И я слышал про тебя, герой, – огладил роскошные усы Шлыков, покосился на меч. – Эка вымахал!

– Да уж, росточком Бог не обидел, – согласился Гурьев.

– Ну, и что, герой? Пойдёшь в моё войско служить? – Шлыков смотрел на Гурьева пьяными, налитыми кровью глазами.

– Предложение лестное, Иван Ефремыч. Беда в том, что с планами моими оно никак не согласуется.

– А плевать мне на твои планы, – окрысился Шлыков.

– И напрасно, – вздохнул Гурьев. – Поверите или нет, – напрасно. Вот совершенно.

То ли тон его спокойный так на Шлыкова подействовал, то ли ещё что, – Тешков так и не уразумел. Только скис как-то враз грозный атаман, вроде как даже хмель бешеный из него утекать начал. А Гурьев, как ни в чём ни бывало, продолжил:

– Я здесь гость, Иван Ефремович, и если кому что и должен, то одному лишь Степану Акимовичу, – за кров и науку. А с большевиками у меня свои счёты. Только вот сводить их так, как вы это делаете, я нахожу бессмысленным и опасным. Опасным, поскольку обоюдное озверение достигло уже того градуса, когда всё равно людям, кто виноват, а кто прав – лишь бы отомстить да крови побольше выпустить. Это уже не война, Иван Ефремович. Это безумие.

– Знакомые речи, щенок. Большевистские, – Шлыков начал багроветь.

– Вот так глупость, не правда ли? Сидит большевик перед казачьим атаманом и пропаганду разводит. С агитацией. Чего ради, непонятно. Но, наверное, есть какой-нибудь резон.

– И какой же?

– Простой, Иван Ефремович. Простой, как сама правда. Кто вешает и звёзды на спинах вырезает, тот зверем и сатрапом войдёт в историю. А какое знамя при этом над ним развеивается, истории всё равно. Не видят люди никакой разницы, Иван Ефремович. Красные вешали, грабили, мобилизовывали. Пришли белые – и то же самое. Ничего не изменилось. Потом снова красные... А жить когда же, Иван Ефремович? Кто же войско кормить будет, телеги чинить, коней подковывать, хлеб сеять? Детей растить? Десять лет с шашкой да карабином в седле, десять лет по пояс в крови. Это вы сами. Хотите и Федьку таким же сделать?

– А ты знаешь?!

– Знаю, – оборвал атамана Гурьев. – Давайте вот как, Иван Ефремович. Вы – ставите против меня самого лихого и опытного из ваших рубак. Верхом и с шашкой. А я – пеший и безоружный. Если он меня развалит, – двум смертям не бывать, как известно. А если я с ним справлюсь – оставите Федьку Степану Акимовичу. Пускай Бог рассудит, на чьей стороне правда. Что скажете?

– Ах ты...

– Соглашайтесь, Иван Ефремыч. Зрелище гарантирую – первостатейное. Казак с шашкой подвысь – и голый человек на голой земле. По рукам?

– Ты что творишь, Яшка, – простонал, бледнея от ужаса, Тешков. – Зачем?!

– Ну, ты сам себе приговор подписал, хлопчик, – ощерился Шлыков. – Выходи на майдан!

– Через полчаса я буду готов, Иван Ефремович, – и Гурьев встал, давая понять, что разговор завершён.

Когда Шлыков, гремя ножнами и шпорами, матерясь в креста, бога и душу, вывалился прочь из хаты, Гурьев повернулся к едва дышащим Тешковым:

– Не бойтесь, дорогие. Я справлюсь.

– Яков Кириллыч, батюшка! – заголосила было Марфа Титовна.

– Цыц, дура, – рявкнул кузнец. – Икону неси, Спаса Нерукотворного, живо! Кому сказал?!?

Женщина всхлипнула и полезла в красный угол. Через несколько минут она стояла, держа трясущимися руками икону, рядом с мужем. Тешков поглядел Гурьеву прямо в глаза, проговорил тихо:

– Знаю, что не веришь ты в это, Яков. Но мы-то, сынок?! Мы-то веруем. Верой нашей и благословляем тебя, как у нас, православных, полагается. Храни тебя Господь Бог Иисус Христос, Богородица Пресвятая, Дева-Заступница, и Святые Угодники, и все праведники православные. Ступай, сынок.

– Спасибо, Степан Акимыч, – кивнул Гурьев. На этот раз даже следа улыбки не было на его лице.

Он вышел на середину майдана – в хромовых дорогих сапогах на тонкой подошве, заправленных в голенища шевиотовых брюках и рубахе навывпуск на голое тело. Без папахи, без ничего. Морозец был – градусов пятнадцать, никак не меньше. Сажень в двадцати от него гарцевал на коне казак в щегольском полушубке с вывернутыми швами, поигрывал шашкой лениво, красуясь перед толпой. Станичники молчали в основном, – мужчины смотрели сердито то на казака, то на Шлыкова с отрядом, и с жалостью – на Гурьева. Бабы шмыгали носами – реветь в голос боялись. Пелагея стояла, терзая руками концы туго охватывающего её голову пухового платка, в первом ряду, бледнее смерти, только глаза полыхали неистово, да губы шевелились – то ли молилась, то ли заговоры шептала.

– Па-а-а-ашшë-о-ол!!!

Казак поднял коня на дыбки и огрел для пушей ярости нагайкой. И, выдернув из ножен и подвысив шашку, с гиком помчался на Гурьева. Он изготовился и зло улыбнулся.

Толпа охнула разом, когда полированная сталь сверкнула на солнце, опускаясь Гурьеву прямо на темя. А в следующий миг все увидели его, совершенно невредимого, стоящего ровно на том же месте с поднятыми вверх руками, с зажатым между ладоней клинком. Конь пронёсся сквозь распахнувшееся людское кольцо, и кубарем покатился по снегу казак, вылетев из седла, словно выдернутый арканом. Повисла такая тишина, что сделалось слышно, как трутся друг о друга молекулы воздуха.

Но лишь на мгновение. И тут же взорвалась тишина рёвом станичников, – восторженным, судя по всему, рёвом, бабьим визгом, свистом казаков, конским ржанием, собачьим лаем. Это радует, подумал Гурьев. Он с размаху всадил шашку в глубоко промёрзшую землю – зазвенел протяжно, чуть спружинив, клинок, а гомон толпы мгновенно стих, – и шагнул к сидящему на приплясывающем жеребце Шлыкову:

– Я своё слово сдержал, Иван Ефремович.

– И я сдержу, – рявкнул Шлыков. – Федьку Тешкова ко мне!!!

Подъехал Фёдор. Шлыков посмотрел на него исподлобья. И вдруг – улыбнулся:

– Оставайся дома, хлопец. И то, не дело это – чтоб отец один в кузнице барахтался. Авось с молотком больше от тебя пользы будет. Ну?! Чего смотришь?!

– Благодарствуйте, Иван Ефремович, – поклонился в седле парень.

А Гурьев кивнул.

По случаю благополучного завершения ристалища Тешковы закатали пир на всю честную компанию. Неожиданное и захватывающее дух окончание турнира разрядило обстановку, сломало лёд между отрядом, самим Шлыковым и станичным обществом. Принесли столы и лавки от соседей, расселись кое-как, – в тесноте, зато никто не в обиде. Пелагея держалась за Гурьева так, словно боялась, что он вот-вот улетит. Она сидела от него по левую руку, и в голове у неё гудело ещё от всего пережитого несколько часов назад. Она даже не прислушивалась, о чём говорили Гурьев с атаманом. Гурьев, понимая прекрасно, что с ней творится, разрешил быть с ним рядом, хоть и не полагалось это никакими законами, писаными и неписаными. Но сегодня не кто иной, как Гурьев, устанавливал все законы.

Шлыков пил много, но не пьянел уже – всё ещё был под впечатлением от увиденного. Людей своих знал Шлыков превосходно, и с тем казаком, что он против Гурьева выставил, говорил сурово – однако трясся казак и крестился, икал и блял, как овца... В колдовство никакое не верил, конечно же, Шлыков. Но...

– А могли бы вы, Яков Кириллыч, казаков моих таким фокусам научить? Хоть человек с полдюжины?

– Могу, но не стану, Иван Ефремович. Не один месяц на это нужен. Но дело даже не в этом. Не сможете вы ими после такого командовать, понимаете? А ведь в той жизни, что здесь течёт, невозможно вам свой авторитет ронять. Я ведь и с вами сижу вот так, здесь и сейчас, надеюсь, понимаете, для чего.

– Да уж не дурак, – засопел Шлыков.

– Вы поймите, дорогой вы мой Иван Ефремыч, – Гурьев коснулся руки есаула. – Не нужно мне ничьё место чужое. Мне на своём хорошо и уютно. Но ведь сил нет смотреть, как пропадает, расплзается всё.

– А что же делать?!

– Да не знаю я, – поморщился, будто от зубной боли, Гурьев. – Ну, пройдёте вы огнем и мечем, повесите ещё двух комиссаров, ещё троих. Или десяток, неважно. А из Читы новых пришлют. И станичников, казаков, за волю и счастье коих вы живота не шадите, на Соловки вывозить станут. Это ли воля и счастье, по-вашему? По моему разумению, было бы куда мудрее здесь, в Трёхречье, закрепиться окончательно. Не годовать, а жить.

– Это как?

– А вот так. Слышали вы или нет, не знаю. Очень любят большевики народ при помощи синаматографа агитировать. Приедут на автомобиле, в котором киноаппарат установлен, и пошли кино крутить. Кино – очень интересное средство, Иван Ефремович. Совсем не забава, как некоторым кажется.

– А это при чём тут?!

– А вот послушайте, Иван Ефремыч. Взять, да и в такой киноаппарат... Взять – и фильму⁷ про жизнь казачью трёхреченскую – такую, какая есть, без всяких выдумок – запечатлеть. А потом размножить в тысячу, скажем, катушек, да по всей России показывать. И альбом с фотографиями, рассказами людей, отпечатать в типографиях. Да не тысячу штук, а сто тысяч. И тоже туда, в Россию. А фотографии эти так подписать, скажем – «Трёхречье Маньчжурское. Русская земля».

– Эко ж тебя, парень...

– Да нет же, нет, господин есаул, – горячо произнёс Гурьев. – Лица-то какие здесь у людей! Только на лица эти взглянуть! И даже Церкви Православной эта даль от Москвы на пользу пошла. Церковь здесь – народная, я же вижу. Потому и слово её в душу самую людскую проходит. Вот и надо это слово туда, в Россию, нести. А не шашкой махать направо-налево.

– Что ж, целовать жидов-комиссаров в уста сахарные?!

– А вы-то, сами, – чем нынче не жид, Иван Ефремович? – усмехнулся Гурьев.

Шлыкков побагровел и закашлялся. Дождавшись, пока у есаула пройдёт первый приступ и немного расправятся лёгкие, Гурьев продолжил:

– Ну, это же просто. Велика Россия, а деваться вам в ней некуда. Нигде вас не ждут, нигде вам не рады. В спину шипят, бандитом обзывают. За речку шагу не ступишь по-человечески, в Москву не поедешь, про Петербург – и говорить нечего. Паспорта нет, так, бумажки какие-то, филькины грамоты. Церковь построить или школу открыть – на всё дозволение властей требуется, а басурманам этим косорылым всё не слава Богу – так и норовят ободрать православного человека как липку. Детей в университет не примут, хоть они и семь пядей во лбу, молодёжь, вместо того, чтобы военное дело постигать да пример брать со старшего поколения, в Совдепию косится, уши проклятым комсомольским агитаторам открывает. Служить негде и некому, одно разорение и непотребство. Родная страна вам не мать, а мачеха. Чем не жидовская доля, Иван Ефремович?

Кого другого – наверняка и слушать бы есаул не утрудился. Но этот парень... Да кто ж ты таков, снова подумал Шлыкков. А Гурьев продолжил:

– Любому человеку – русскому ли, жиду ли, не имеет значения, – важно быть нужным. Знать, что он человек, а не мусор, что он пользу приносит. Пусть махонькую, пусть не такую, как все. Туда, где их своими признали, они и пошли. В бунтовщики. Да, это было ошибкой. То есть хуже, чем преступлением. А разве прочие все без греха, – те, кто своим недомыслием, а то и прямым расчётом толкали их в это? А в войну что творилось? А потом? Все народы – замысел Божий. Любой народ священен и неподсуден, Иван Ефремович. Народ, но не личности. Личностей бы некоторых повесить, и поскорее, – вот это было бы, как нельзя кстати. И насчёт жидов, Иван Ефремович, так скажу. Среди жидов ангелочков не более водится, чем среди всех остальных прочих. Это я безо всяких подсказок знаю, да и ещё в Ветхом Завете про это чёрным по белому написано. Только знаете, почему русские такую великую страну, такую империю вытянули? Потому, что ко всем, кто в русскую империю входил, ко всем без исключения, кто в русскую ойкумену вливался, относились спокойно и ровно, судили и по совести, и по закону. И тех, кого войной присоединяли, и тех, кто сам под знамёна вставал. А с евреями – не получилось так. Почему да отчего – боюсь, не при нашей жизни и не нам предстоит в этом

⁷ В 20-е годы слово «фильм» часто произносили как «фильма», женского рода, что не являлось нарушением языковой нормы.

разбираться. А то, что эту власть поддержали, то, что в неё поверили и служить ей кинулись – это ещё отойдёт. Кровавыми слезами.

– Что, – усмехнулся Шлыков, – а разве не жидовская это власть?

– Нет, Иван Ефремович, – покачал головой Гурьев. – Власть эта не жидовская. Не русская, не китайская. Ничья она, в этом всё дело. Нет в ней человеческого ничего. Никакая власть ни в какие прежние времена не пыталась из людей всё людское вытрясти, выжечь начисто, без остатка. Были, конечно, всякие поползновения, но таких... Такого – не было никогда.

– Но кто же... Кто-то же крутит всем этим?!

– Кто-то, возможно, и крутит, – задумчиво проговорил Гурьев. – Но если этот кто-то действительно существует, то крутит он еврейями так же, как и остальными. Понимаете, Иван Ефремович?

– Нет, – потряс чубом Шлыков.

– И я пока не очень, – сознался Гурьев. – Но так хочется. Скажите мне вот какую вещь. Среди тех комиссаров-жидов, – много ли таких, кто в Бога верует? Не в Ленина да в коммунизм, а в Бога? Пусть не по-русски, не по-православному, пускай хоть по-своему, по-жидовски? Ответьте.

– Что же ты, Яков Кириллыч, говоришь-то такое?! – взмолился Шлыков. – Как же это, комиссар – и в Бога?! Быть такого не может!

– Вот. Может, в этом и секрет, Иван Ефремыч? А собачиться попусту, комиссаров жидами обзывать, а жидов комиссарами – только всё путать до полной безнадёжности. Да и одни ли комиссары там? Я и сам с Троцким обниматься не жажду. Но почему же только непременно Троцкий, Иван Ефремович? А братья Рубинштейны, музыканты и педагоги, а художник Левитан, а скульптор Антокольский? А казначей Трахтенберг, что у Врангеля служил? А тот мальчик, наконец, Лёня Канегиссер, что прострелил башку упырю Урицкому? Человеку разум для того и дан, чтоб он думать учился, а не глупости всякие повторять. Слова и язык даны человеку, как орудие его разума, чтобы объединять людей, к свету вести их. А не собачий лай да поношения всякие изрыгать. Большевики, кроме всего прочего, словом своим сильны, мечтой. Пусть нам и не нравится это, однако силу их отрицать мы не можем. Есть эта сила в них, есть!

– Это точно, – покачал головой Шлыков. – Кто ж тебя-то словам таким научил, Яков Кириллыч?

– Нет уже этих людей на свете, – Гурьев посмотрел на Шлыкова так, что тому сделалось неуютно. – А если и были б... Что ж, я ведь всё понимаю, Иван Ефремович. Инерция – страшная вещь. Почти неодолимая даже. Но именно – почти. Если б собрать всех наших... Эх, – Гурьев махнул безнадёжно рукой. – Только опять всё начнётся, как встарь. Каждый на себя одеяло тянет. У этих Колчак – дурак, у тех – Врангель предатель, у третьих – Деникин враг. У красных не было этого. Не было – вот и в силе они теперь, а мы – в Китае.

– Зато здесь крепко стоим, – буркнул, мрачняя, Шлыков.

– Крепко? Да так ли? – грустная усмешка обозначилась у Гурьева на лице. – Это до первых гроз, Иван Ефремович. Китайцы в свою игру играют, японцы – в свою, а мы, русские, между их жерновами барахтаемся. Эти дураки хотят с Советами воевать. Слыханное ли дело? Не видать им в такой войне победы. А вот если бы в самом начале – железку под охрану взять, с китайцами и японцами всерьёз начать договариваться... Лет бы восемь назад хотя бы... Если бы эта дорога по-прежнему русской была – глядишь, и большевички по-другому запели б. Тогда ещё, когда армия да казачество здесь, на Дальнем на нашем Востоке, в силе были своей, в Забайкалье. А сейчас японцы так уже тут уселись – не сдвинуть враз. Всё, что можно, действительно – это лавировать, выгоду свою, русскую, оборонять. И не дать себя в авантюры китайские да японские втягивать. А с японцами, с Сумихарой, я могу поговорить.

– Ты?!? – опешил Шлыков. – Как?!?

– А я фокус знаю, – отчаянно улыбнулся Гурьев. – Такой фокус, против которого Сумихара ни за что не устоит.

Идея пообщаться с генералом возникла у Гурьева ещё в Харбине. Не было только ни случая, ни повода. А теперь – появился. Гурьев – в силу своей подготовки и усвоенных знаний, накопленных уже здесь, в Трёхречье, наблюдений – очень хорошо понимал, как туго придётся казакам, если разразится война с Советами. И что без японцев не обойдётся при этом никак.

– Добро, – кивнул Шлыков. – Правду, значит, Кайгородов про тебя говорил. Вот Масленицу отгуляем – и поедем. Покажешь мне свой фокус. Очень хочу я на него посмотреть... Ох, Яков Кириллыч! Кто ж ты таков, никак не уразумею?!

Гурьев только сейчас понял, что всё это время Пелагея держала его за локоть. Держала, гладила, и такими глазами смотрела. Полюшка.

* * *

Масленицу гуляли, действительно, с размахом. А, отгуляв, стали в Харбин собираться. Вся станица, до последнего человека, включая баб и ребятишек, вышла провожать отряд. Прощаясь, Пелагея обняла Гурьева. Отстранившись, накинула ему на шею что-то – не то амулет, не то ладанку, он и рассмотреть толком не успел, – зашептала быстро-быстро:

– Ты не возражай, не возражай, Яшенька. Это ладанка особая, намоленная, заговоренная, я её к самому владыке Мелетию возила, благословение выпросила. Никола-угодник это, заступник святой всех путников... От любой напасти тебя убережёт, хоть от пули, хоть от сабли, от воды да огня. Не возражай, Яшенька! Чай, не на гулянку-то едешь, Бог один знает, что вас в дороге-то ждёт!

– Не стану возражать, голубка моя, – тихо проговорил Гурьев, обнимая её. – Я ведь совсем ненадолго уезжаю, Полюшка. Неделю, самое многое – дней десять. Ты не тревожься, милая. Я вернусь.

– Ну и ладно, – Пелагея улыбнулась вздрагивающими губами. – И хорошо. Дай-ка, я ещё с Серко твоим пошепчусь.

Пелагея взяла коня за морду, потянулась к нему, дунула тихонько в ноздри. Серко фыркнул, мотнул головой. Пелагея что-то забормотала на низкой ноте, то приближая своё лицо к нему, то отдаляя, раскачиваясь. Гурьев смотрел на это во все глаза. Пелагея будто гипнотизировала животное. И, что удивительно, Серко, кажется, вовсе не сопротивлялся. Напротив, – кивал, соглашаясь, пофыркивал, будто отвечал. Пелагея, остановившись и отпустив Серко, повернула к Гурьеву лицо, – какие же глаза у неё, какие глаза, подумал он, – выдохнула:

– Вот, Яшенька. Ты на него ложись, на Серко-то. Он тебя теперь из всякой беды выведет. Он мне обещал.

Гурьев кивнул, снова обнял Пелагею, поцеловал в губы:

– До свидания, голубка моя. Не скучай.

Пелагея от него отошла, и Гурьев птицей взлетел в седло, закружился на месте. И увидел, как женщина остановилась у стремени Шлыкова, поманила атамана рукой. Тот, помедлив, нагнулся к ней, а Пелагея, обняв его, что-то прошептала казаку в лицо. Высвободившись, тот кивнул несколько раз и вдруг вскинул правую руку с висящей на ней нагайкой к папахе – вроде как шутливо, но лицо его при этом оставалось серьёзным. А Пелагея пошла к дому – с гордо поднятой головой, да такой походкой, что закричали казаки, а бабы загудели – не то завистливо, не то осуждающе. А Гурьев улыбнулся.

Когда они отъехали несколько вёрст от станицы, Шлыков, скакавший до этого в арьергарде отряда, нагнал Гурьева, закачался рядом. Гурьев молчал, глядя прямо перед собой, лицо его было сосредоточенным и даже как будто угрюмым. Шлыков первым не выдержал, заговорил:

– Не пойму я что-то, Яков. Чем же ты Пелагею-то приворожил? Молодой ведь ты хлопец совсем ещё!

– Я ворожбе, Иван Ефремович, не обучен. Я просто её люблю. Как могу, как умею. Вот и весь секрет.

Помолчали. Шлыков сопел, хотел сказать что-то – и не решился. А Гурьев на этот раз вовсе не спешил приходить ему на помощь. Наконец, есаул прокашлялся:

– Ты, в общем... Ты прости меня, Яков Кириллыч. Я ведь чуть было тебя не зарубил. Прости.

– Пустое, господин есаул, – Гурьев едва заметно усмехнулся. – Сказала ведь Полюшка – пулю ещё для меня не отлили, саблю не выковали. Я понимаю. Забудем. Я зла на вас не держу, но и вы уж, будьте так ласковы.

– Не пропадёт за мной, Яков. Не пропадёт. Ежели с Сумихарой выгорит, я тебя к самому Григорию Михайловичу проведу! Надо тебе с ним поговорить непременно.

– Вот этого не знаю, – с сомнением произнёс Гурьев. – Может, и так. А может, и нет. Ну, поживём – увидим.

Шлыков кивнул как-то странно и чуть придержал коня. Гурьев снова оказался впереди. Сняв вязаную – тоже Полюшка расстаралась – перчатку, вытащил на свет ладанку, рассмотрел подробнее. Вот же диво, подумал он, не иначе, как сама её и точила. Это был некрупный, не более старого полтинника, кусок тёмной яшмы, почти квадратный, со скруглёнными краями и сквозным отверстием в верхней части, через который и был пропущен ремешок. На одной стороне и в самом деле угадывалось нечто, напоминающее силуэт святого с нимбом, а другая сторона была гладкой, отполированной почти до блеска. Покачав головой, Гурьев убрал амулет назад под одежду. Ох, Полюшка, Полюшка.

По дороге они разделились – большая часть отряда направилась в Верхнюю Ургу, а меньшая – около двадцати человек вместе со Шлыковым и Гурьевым, – дальше, в Харбин.

Отряд остался ожидать их в Алексеевке. Сам Шлыков, четыре казака для охраны и Гурьев отправились в город. Поселились сначала на постоялом дворе у Чудова. Шлыков собрался через русских сотрудников запрашивать аудиенцию, но Гурьев махнул рукой:

– Да вы что, Иван Ефремович! Так нам тут до самого морковкина заговенья сидеть придётся. Вот это в ящик для писем опустите, – он протянул Шлыкову узкий и длинный конверт жёлтой рисовой бумаги, – а завтра, с Божьей помощью, отправимся.

– Что здесь? – помахивая конвертом, хмуро спросил атаман.

– Письмо Сумихаре.

– А ты... по-японски?!

– Разумеется, – дёрнул плечом Гурьев.

– Н-да, – хмыкнул Шлыков. – Ох, узнать бы мне, кто ты таков... Ладно. Поверю и на этот раз. Пока не жалел, вроде.

– Так со всеми обычно бывает, Иван Ефремович, – улыбнулся широко Гурьев.

Перед крыльцом особняка, в котором размещалась резиденция генерала, Гурьев остановился и повернулся к Шлыкову:

– Пожалуйста, послушайте, Иван Ефремович. Пока мы будем внутри, ничего не произносите и ничему не удивляйтесь, во всяком случае, вслух. Если вы сделаете какой-нибудь неправильный жест или издадите неподобающий возглас, это может всё испортить. Молчите, что бы ни происходило. Договорились?

– Ну...

– Пообещайте мне это, Иван Ефремович, – Гурьев, не мигая, глядел в лицо атамана.

– Обещаю, – Шлыков не отвёл взгляда, но моргнул, и покосился на длинный свёрток в руках Гурьева.

– Отлично, – кивнул Гурьев. – Вперёд.

Они вошли внутрь и остановились перед офицером штаба, назвали свои имена. Японец сверился со списком посетителей:

– Его высокопревосходительство генерал Сумихара примет вас, господа. Оставьте ваше оружие.

Шлык, еле слышно скрипнув зубами, так, что Гурьеву стало его даже жалко, отстегнул от перевязи шашку, вынул револьвер и грохнул на стол перед японцем. Тот повернулся к Гурьеву, который в этот миг одним движением развернул шёлк, и оба, – и японец, и Шлык – ахнули: в руках у Гурьева засверкал полировкой ножен и золотом гарды тати,⁸ – длинный, с заметным изгибом клинка.

– Этот меч – дар генералу Сумихаре. Никто, кроме слуги Сына Неба, не смеет прикоснуться к нему, – высоким, визгливым голосом со звенящими, вибрирующими обертонами, – так, как учил его Мишима, – пролаял Гурьев по-японски.

Офицер, вытаращив на него глаза, даже переставшие быть узкими от изумления, вскочил и вытянулся. Надо же, обрадовался Гурьев. А ведь сработало.

Другой офицер свиты главы военной миссии Ямато поклонился и распахнул перед ними двери генеральского кабинета. Они переступили порог, вошли. Сумихара стоял и молча ждал, только слегка поклонившись – ему уже доложили о необычном визитёре. Гурьев, поклонившись много ниже в ответ, вызвав тем самым замешательство у всех без исключения присутствующих, выпрямился. Потом, сделав ещё два шага вперёд, к генералу, низко наклонил голову и протянул Сумихаре меч – рукоятью к себе.

Сумихара шагнул к гостю, на ходу вытаскивая белоснежный шёлковый платок, осторожно взял меч из его рук. Гурьев неуловимо-скользящим движением выпрямился и, замерев и расфокусировав взгляд, стал внимательно наблюдать за Сумихарой. Генерал, не спеша, осмотрел ножны, рукоять, цуба, богато украшенную самородным золотом. Потом обнажил клинок на четверть. Лицо его оставалось непроницаемым, – но глаза! Гурьев понял, что самурай Сумихара готов, – наповал. Недаром он так старался.

– Кто это ковал? – тихо спросил Сумихара.

– Я сам, Ясито-сама, – снова поклонился Гурьев. – Примите этот скромный дар вашего покорного слуги, Ясито-сама.

– Кто тебя учил Бусидо? – отрывисто, низким голосом, каким не должны самураи разговаривать с чужаками, спросил Сумихара.

– Нисиро Мишима из клана Сацумото, великий Воин Пути.

Он произнёс это почти автоматически, как некую устойчивую формулу, но, увидев, как вздрогнули глаза генерала, как расширились его зрачки при всяком отсутствии даже намёка на какую-либо мимику, понял – второй раз за последние пять минут его слова поразили Сумихару в самое сердце.

– Он жив?

– Его душа приобщилась к вечности, Ясито-сама.

– Да смилостивятся боги над душой самурая, – Сумихара тоже склонился в ритуальном поклоне. – Как твоё имя, воин Пути?

Сумихара, сказав это, едва заметно улыбнулся. Не покровительственно, нет. Неужели он знает, промелькнуло у Гурьева в голове. А генерал, словно подтверждая его мысль, чуть-чуть кивнул.

– Нисиро-О-Сэнсэй называл меня Гур, Ясито-сама.

⁸ Тати – церемониальный самурайский меч, который, в отличие от дайшо (катаны и вакидзаша), носили не за поясом, а на перевязи, как саблю.

Сумихара снова поднял меч, любовался хамоном⁹ на полированном до нестерпимого блеска клинке.

– Ты знаешь секреты повелителя железа, Гуро-сан.

– Знаю, Ясито-сама, – Гурьев утвердительно наклонил голову вперёд и набок. Не слишком ли много чудес на сегодня, подумал он.

– Как ты назвал его, Гуро-сан?

– Священный Гнев, Рассекающий Сталь.

– Великолепное имя для меча. И великолепный подарок, достойный не меня, ничтожного слуги, но самого Микадо, да воссияет его святое имя навечно. Я принимаю этот дар с благодарностью и восхищением, Гуро-сан.

Генерал шагнул назад и низко поклонился. Гурьев проворно согнулся в ответном поклоне самураю.

Сумихара вернулся на своё место:

– Прошу садиться, господа, – проговорил он по-русски и тут же снова перешёл на японский: – Что я могу сделать для тебя, Гуро-сан?

– Мне нужно оружие, чтобы защитить моих людей. У атамана оружия не так много. Простите, если моей просьбой я нарушаю ваше спокойствие, Ясито-сама.

– Список, – протянул руку генерал.

Гурьев, поднялся, опять поклонившись, шагнул вперёд, подал генералу бумагу обеими руками и, отступив назад, сел рядом с есаулом. Сумихара, не глядя, приложил отпечаток личной печати, и, подозревая адъютанта, изо всех сил пытающегося сохранить остатки самообладания, передал ему лист:

– Выдать всё, – и снова повернул лицо к Гурьеву: – Что ты делаешь в Маньчжоу, Гуро-сан?

– Учусь чувствовать и понимать свой народ, Ясито-сама. Прошу меня извинить, но я не верю, что смогу стать истинным воином Пути, если не сделаю этого.

– Почему здесь, а не в России?

– Там это сделать сегодня невыразимо труднее, Ясито-сама. Большевики прилагают все возможные усилия, чтобы русские – и не только русские – исчезли с лица земли. Ещё раз прошу извинить мою дерзость, Ясито-сама.

– Ты думаешь, они ещё не преуспели?

– Пока нет. И я постараюсь, чтобы у них ничего не вышло. Конечно, один – я немногого стою. Но с другими воинами, русскими и не только, – с такими, как вы, Ясито-сама, – должно получиться.

Генерал прищурился:

– Миссия народа Ямато – не в том, чтобы спасти Россию и русских. Или ты думаешь иначе?

– Разумеется, я думаю иначе. Выручать свою Родину из беды – дело самих русских, тут вы правы, Ясито-сама. Но помочь им – дело чести всех остальных, если все остальные хотят выжить и уцелеть, как народы, со своей историей и судьбой.

– Странные речи. Смелые речи, – Сумихара посмотрел на ничего не понимающего Шлыкова и снова обратил взгляд к Гурьеву. – Я подумаю над твоими словами, Гуро-сан. Слова, сказанные воином Пути, достойны того, чтобы подумать над ними. Что дальше?

– Нисиро-О-Сэнсэй завещал мне побывать в Ниппон. Думаю, нынешней осенью буду готов сделать это.

⁹ Хамо́н – особая зона клинка, созданная посредством процедуры закаливания режущего лезвия с целью придания ему твердости.

– Придешь за паспортом прямо ко мне, я отдам распоряжение. Ты знаешь ведь, что я тоже сацумец? – генерал опять слегка улыбнулся.

– Я знаю, Ясито-сама, – поклонился Гурьев.

– Для чего здесь этот казак? – указал взглядом на Шлыкова генерал.

– Этот достойнейший и храбрейший русский офицер хотел лично убедиться в том, что вы выслушаете меня и будете ко мне милостивы, Ясито-сама, – опять поклон. Ничего, спина гибче будет, подумал Гурьев.

– Ты мудрый юноша, – на сей раз улыбка в полную силу осветила жёсткое лицо Сумихары, неожиданно сделав его красивым. – Хорошо. – Генерал перевёл взгляд на Шлыкова и медленно, почти без акцента, отчеканил по-русски: – Если вам потребуется мой совет или мнение по любому вопросу, обратитесь к моему другу господину Гурьеву, господин... есаул. Помните, – помогая господину Гурьеву, вы помогаете не ему и не мне, – вы помогаете себе, прежде всего. И передайте мои слова его высокопревосходительству атаману Семёнову. Не смею задерживать далее, господа. Гуро-сан.

Генерал поднялся и поклонился сначала совершенно обалдевшему Шлыкову, а потом, куда более тепло – Гурьеву:

– Да хранит тебя вечный свет величайшей Аматерасу Оомиками, Гуро-сан.

– Да хранит и вас всемилостивая и светлейшая, Ясито-сама, – Гурьев вернул поклон и, дёрнув казака за рукав, отступил, пятясь, к двери и вышел, поклонившись в последний раз.

Когда они оказались на улице, Шлыков загнул такую конструкцию, что Гурьев завистливо прищёлкнул языком:

– Вот уж где мне с Вами, Иван Ефремыч, не потягаться. Искусник Вы, право.

– Ты... Вы... – и Шлыков опять разразился громами и молниями, ещё более ветвистыми и продолжительными.

– Так «ты» или «вы», Иван Ефремович? Вы бы определились как-нибудь, а то перед казаками неловко, – улыбнулся, как ни в чём ни бывало, Гурьев.

– Ты, Яков Кириллович. Как у нас, русских офицеров, принято, – Шлыков протянул Гурьеву руку. – Ну, брат! Только это вот что... Взаимно. Добро?

– Так точно, господин есаул, – Гурьев торопливо нахлобучил папаху и отдал честь.

Шлыков, вдруг не то всхрапнув, не то всхлипнув, шагнул к Гурьеву и стиснул его в объятиях. И отстранившись спустя мгновение, взял его обеими руками за плечи, тряхнул:

– Ну, брат! Ну, – это, знаешь! Вот уж не ожидал, так не ожидал. Что ж ты сказал-то ему такое, обезьяне этой японской?!

– Опять ты лаяться принялся, Иван Ефремыч, – укоризненно покачал головой Гурьев. – Не обезьяна он, а самурай, человек чести и хозяин своего слова. Только подход нужен соответствующий. Поехали оружие забирать. А то мне гостинцы ещё купить предстоит.

* * *

С оружием – двумя сотнями винтовок, сотней маузеров в деревянных кобурах-прикладах, двадцатью пулемётами, двумя дюжинами ящиков гранат и морем патронов, а также медикаментами, перевязочным материалом и множеством прочих военных и не очень военных мелочей – они погрузились в эшелон до Хайлара, что Гурьев тоже предусмотрительно запросил у генерала. Шлыков отбил телеграмму в Драгоценку, и в Хайларе их должен был встретить обоз, чтобы перевезти всё на базы казачьего войска. Хорунжий Котельников, под началом которого оставался основной отряд, тоже намеревался встретить там своего командира. Сумихара оказался столь любезен, что к эшелону прицепили пультмановский вагон первого класса, так что Гурьев и Шлыков с казаками проехали до Хайлара с настоящим, почти забытым,

а кое-кому так и вовсе неведомым комфортом, отвлекаясь только на караулы и присмотр за лошадьми.

Шлыков с Гурьевым ехали в купе вдвоём, – ну, совершенно по-генеральски. Есаул, конечно, на радостях штоф ополовинил. Гурьеву хоть это и не подобалось, однако, отставить было никак невозможно.

– Нет, точно надо тебе к атаману поехать, Яков Кириллыч. Что он скажет, я не знаю, конечно. Но вот за припас уж точно поблагодарит Григорий Михалыч!

– Я этот припас у Сумихары не затем выцыганил, чтобы вы кровавую баню за речкой устраивали, Иван Ефремович. Война начнётся со дня на день, людей от красных защищать нужно, а не мифологию разводить. Нет ведь ни мощи, ни единства должного, чтобы третьей силой в этой войне выступать. Русской силой. Ох, инерция, инерция! Вот о чём ведь я говорил. Только увидела казачья душа винтовки с пулемётами – и всё, пиши пропало. Иван Ефремович, дорогой! Нельзя так-то ведь. Ну, ладно, ты меня немножко узнал. Авось, и послушал бы. А Семёнов – что ему мальчишка какой-то?! У него свой политес в голове звенит. Он уже себя начальником всей Сибири и Зауралья видит. При всём моём уважении к его личному мужеству и готовности до конца сражаться. Но не время сейчас. Понимаешь ли ты меня, Иван Ефремыч?!

– Я-то понимаю...

– Видишь, как. Ты – понимаешь. А сделать – не можешь ничего. Ни денег у тебя своих нет, ни людей в достатке. И у меня нет. Поэтому давай так с тобой условимся. Я в Тынше останусь, со мной три пулемёта и полторы дюжины винтовок. Гранат пару ящиков. Всё, что по дворам наскребём, да хлопцев я поднатаскаю ещё чуток. Это не армия, конечно, но станицу мы сами защитить сможем. Да ещё и соседям на помощь придём, если что. Связи вот нет, это беда настоящая.

– Свя-а-азь?!

– Да-с, господин есаул. А что же, свистеть на сотни вёрст, как пастухи в Альпах?! Поверишь, нет ли, Иван Ефремыч. Который месяц голова у меня раскалывается. А ведь не могу придумать ничего. Интуиция моя говорит, что война скоро. А мы к ней не готовы. И Полюшка говорит...

– Ну, Яков Кириллыч, – хохотнул Шлыков. – Полюшка! Баба-то что в этом понимать может?! Бог с тобой.

– А вот это ты зря, – коротко взглянул на казака Гурьев. – Это всё ерунда, что у бабы волос долог, а ум короток. Женщина по-иному устроена, оттого и думает, и чувствует по-иному. Но не хуже, это я точно знаю. А иногда и лучше любого мужика. Множество наших бед оттого происходят, Иван Ефремыч, что мы женщин наших слушаем мало либо не слушаем вовсе. Это неверно. Это ошибка, которая, по словам Талейрана, даже хуже, чем преступление.

– Ох, Яков Кириллыч... Что ты за личность, не ухвачу я никак! Ладно. Оставайся, друг ты мой любезный, в станице. Может, и есть в твоих словах правда. Только я сейчас не настолько трезв, чтобы всю её уразуметь. Да и ты тоже выпил немало, наверняка и у тебя в голове путается...

– Это есть, – согласился со вздохом Гурьев.

– Так и порешим. А Григорий Михалычу я всё одно буду о нашей одиссее докладывать, и уж про тебя расскажу, будь спокоен!

– А может, не стоит? – вдруг проговорил Гурьев задумчиво.

– Это почему?! – уставился на него Шлыков.

– А потому, Иван ты мой Ефремович, – Гурьев опустил веки, помотал головой. – А ну как решит славный атаман, что я в политику его лезу? Не желаю ведь я в политику, Иван Ефремович. Людей бы побережь! Не готов я сейчас к политике. Не знаю я ничего. В течениях

подводных не ориентируюсь. Воздух сотрясу только, переполоху наделаю да, не ровен час, разозлю кого. Не хочу я. Не хочу!

– Ох, Яков Кириллыч! Что ж так терзает-то нас Господь? За что? Может, и в самом деле зря мы столько кровушки пролили? А ведь была и невинная кровь, была, что греха таить. Война ведь...

– И я о том же, Иван Ефремыч. И не знаю я, как нам быть. Совсем не знаю. А надо бы. Теряем ведь мы Россию, атаман. Если уже не потеряли.

– Мы? Ты на себя-то не бери, не твой это грех, – омрачился лицом Шлыков. – Сколько лет тебе было, когда гражданская закрутилась, Яков Кириллыч?

– Семь, – усмехнулся Гурьев.

– Это что ж... Десятого года ты, что ли?! – изумился Шлыков. – Ох, Матерь Божья! Это тебе девятнадцать сейчас?

– Нету ещё, – пригорюнился Гурьев. – Декабрь вон как далеко.

– Ну, дела, – тихо проговорил, качая головой, Шлыков. – Какой же твой грех-то, Яков Кириллыч?!

– Грех, возможно, и не мой, – тихо произнёс Гурьев. – А расплачиваться за него мне предстоит. Мне и остальным. Детям, Иван Ефремович. И куда это годится, скажи на милость?

– Яков Кириллыч... Не рви душу.

– Я не от водки, Иван Ефремович. Водка тут ни при чём, хоть ты её и хлещешь, как воду.

– Эх, проклятая... Вот ты говоришь, Яков Кириллыч, – что жида-то, мол... А ведь дымку¹⁰ – то – кто испокон веку продавал? А? Если б народ не спаивали...

– Ах, бедненький, – оскалился Гурьев. – Спаивают тебя. А ты не пей! Прояви гражданское мужество и народную мудрость – перестань пить, и всё! Как меня напоить, если я не хочу?! А вот если захотел – тогда совсем другое дело. Тогда спаивай меня, не спаивай – всё едино напьюсь. Или не так?

– Так.

– А ещё я тебе про жидов расскажу, Иван Ефремович. Очень меня этот вопрос занимает, признаться. Ты думаешь, у них счёт к империи меньше? Сто пятьдесят лет тому они вдруг сделались подданными русского царя. Их кто-нибудь спросил, хотят ли они? Раз. В одночасье все указы и грамоты, что их защищали, польскими и литовскими королями выданные, сделались ничем. Два. Вместо самоуправления или управления – кагал развели, разодрали народ, позволили одним грабить безнаказанно, а других лишили даже возможности пожаловаться. Три. Кагал и охотники в солдаты мальчишек с десяти лет сдавали – это что такое, Иван Ефремович? Не на год, не на два. На четверть века. А дети и русского языка-то не знали. Какие из детей солдаты?! Не предупредили, ни словом не обмолвились, – навалились, как... А черта оседлости, а процентная норма, а раскол традиционной системы обучения и воспитания, из которой вся эта социалистическая муть поднялась? А как в пятнадцатом году начали сотнями тысяч стогнать людей с насиженных мест из-за угрозы австрийского наступления, и что творилось при этом, какие безобразия? Я вам ещё могу с десятков причин и поводов назвать, но дело не в этом. Надо перестать раздавать тумачи друг другу и начать вместе делать что-нибудь стоящее. Страну из беды выручать, например.

– А даже если и так, Яков Кириллыч. Пускай и так. Однако, что же. Жиды ведь Царя умучили. Или нет?

– Подонки. Просто подонки, понимаешь, Иван Ефремович? Всякой твари там было по паре, в расстрельщиках – и еврей-выкрест, и немцы, и латышские стрелки, и русские. А приказ на это убийство отдали Ленин да Свердлов. И суть их не в том, жиды они или не жиды, а в том, что Россия им – хуже постылой жены была. Германский порядок им – икона да свет в

¹⁰ Дымка – водка, самогон

окошке. Не в том беда, что жида, а в том, что не русские. В этом всё дело, Иван Ефремович. Ты вот подумай, друг любезный. Все иные-прочие как прозываются? Тот – англичанин. Этот – француз. Немец. Китаец. Почему не «китайский» или «немецкий»? А? Только русский – русский. Почему?

– Ну, – Шлыков нахмурился и отставил в сторону бутылку.

– Русские, Иван Ефремович – это царские. Вот ты, к примеру, казак – а всё равно русский. Татарин – тоже русский. И калмык. И все остальные. И в княжьих дружинах кого только не было – сам чёрт ногу сломит разбираться. Но все – русские. Потому что Русь – это Цари. А Цари – это Русь. Вот такое дело, Иван Ефремович.

– Матерь Божья, – тихо проговорил Шлыков и перекрестился. – Яков... Кириллыч... Да ты...

– А они – не русские были, Иван Ефремович, не царские, – словно не замечая замешательства Шлыкова, продолжил Гурьев. – Царь им мешал своё чёрное дело творить, Россию по клочку растаскивать. И не черти они никакие, а так, бандиты и уголовники. Чужие они нам. Всем русским – чужие.

– А ты откуда же, Яков Кириллыч, всё это знаешь? – сипло спросил Шлыков, как-то странно глядя на Гурьева.

– Да уж знаю, – он усмехнулся. – Был у меня такой каприз пару годков тому назад. Нет ничего тайного, Иван Ефремович. Есть те, кто желает знать, и кто не желает.

– Во как...

– Ты пойми, Иван Ефремович. Россия – страна тысячи лиц и держава множества языков. В этом её сила, залог её вечности. Орёл её герба смотрит и на восток, и на запад. Никакую другую страну за исключением, быть может, Америки, столько людей, самых разных и совсем друг на друга не похожих, не числят своей Родиной. И русский Царь до тех пор был настоящий Царь, пока ко всем своим подданным относился равно спокойно и справедливо. Пусть будет царь, разве я против? Только как символ Божьего мироустройства, что смиряет гордыню и похоть людей, а не одна голова, которая всё за всех решает. Это глупость, и ничего больше. Придётся думать самостоятельно. И в будущей России, если она захочет Россией остаться, иначе никак невозможно. Ты уж мне поверь, пока просто на слово. А насчёт жидоморства... Мне лично оно особенно не нравится, по целому ряду причин. Я, конечно, не настолько наивен, чтобы думать, будто оно совсем и навсегда исчезнет. Но вот чтобы поводов для него было поменьше, я позабочусь. В том числе в виде дремучего и во всех смыслах предосудительного невежества, – глядя в растерянное лицо Шлыкова, Гурьев усмехнулся и похлопал его по колену: – Соглашайся, Иван Ефремович. Ей-богу, не пожалеешь.

– А она будет? Россия-то? – глаза Шлыкова сделались совершенно трезвые.

– Так ведь это не от меня одного зависит. Всем придётся поднатужиться. Конечно, по Маньчжуриям да Парижам отсиживаться и ждать тоже можно. Толку вот в этом совершенно чуть.

– Яков Кириллыч, – Шлыков покачал головой, от чего русый чуб недоумённо всколыхнулся. – Матерь Божья, если б мне кто раньше такие слова! Может, вся жизнь моя на иную дорожку-то вывернула. Сколько я этих комиссаров и жидов! Матерь Божья...

– Мне бы инструменты настоящие, – тоскливо проговорил Гурьев, запрокидывая лицо к потолку и сжимая кулаки. – Настоящие инструменты бы мне, господин есаул!

– Какие же это?!

– Не знаю, – почти простонал в ответ Гурьев. – Не знаю я. Узнать бы!

В Хайлар прибыли рано утром. Перегрузившись на ожидавший их уже гужевой обоз, пустились в путь, не откладывая. Ехали весь день и вечер, переночевали в хуторе Поставском и, едва забрезжили предрассветные сумерки, снова тронулись в дорогу. К полудню увидел Гурьев знакомые места.

– Я поеду вперёд. Не возражаешь, Иван Ефремыч?

– Что, за Пелагеюшкой своей соскучился? – усмехнулся добродушно Шлыков. – Скачи, скачи, Яков Кириллыч. Мы потихоньку.

Гурьев уже привычным жестом вскинул руку к папахе и пустил Серко в намёт. Потом, жалея коня, придержал, пошёл крупной рысью.

Не прошло и часа, как показались тыншейские курени. И одинокая женская фигурка, замершая на околице. Полюшка, подумал Гурьев. Замерзла ведь, бедная. Голубка моя.

Гурьев подлетел к ней, соскочил с коня, раскинул с улыбкой руки. Пелагея упала к нему прямо на грудь:

– Яшенька! Вернулся!

– Обещал ведь, Полюшка.

– Обещал, обещал. Знаю. Ну, пойдём, родненький. Я ведь чуяла, что приедешь сегодня. Баню натопила!

– Колдовала, небось, – улыбнулся Гурьев, обнимая её.

– А то как же, – Пелагея спрятала лицо в отворотах его полушубка. – Идём уж...

Гурьев достал из седельной сумки набивную разноцветную шаль с шёлковой бахромой, купленную в Харбине, накинул на плечи Пелагее:

– На вот, Полюшка. Красуйся, голубка моя.

– Спасибо, Яшенька... Да не нужны мне подарки-то. Живой-невредимый вернулся, любушка мой, больше-то не бывает радости. Не обижал тебя Шлыков-то?

– Куда там, – рассмеялся Гурьев, – напугала ты его, видать, до икоты. Слова бедняга молвить не решался.

– Шутишь всё, охальник, – Пелагея впервые улыбнулась. – Идём же, соскучилась я досмерти!

Только теперь понял Гурьев, что тоже соскучился. И как соскучился. А ведь мне уезжать, и совсем скоро, подумал он. Как же я уеду?

На следующее утро, провожая подводы с оружием дальше и видя, как обнимаются Гурьев с Шлыковым, станичники только головами качали. Кто ж таков наш Яков, подумал кузнец, если самого Шлыкова сумел... Кто ж таков-то он, Господи, надоумь?!

* * *

Видимо, вопрос этот не одного только кузнеца Тешкова и его семейство занимал. И не в одной лишь Тынше. В станице церкви своей пока не было, ездили обычно в Ургу или в Кули. Иногда и сам отец Никодим заезжал, если кто причаститься хотел или покойника соборовать. Вот и в это воскресенье – было тепло уже по-летнему, погода стояла – загляденье, – отправилась Марфа Тешкова в Усть-Кули. А возвратившись, вошла в избу, перекрестилась да и села мешком на пороге:

– Степан Акимыч! Батюшка! Яков-то наш...

– Чего опять!? – переполошился кузнец.

– Яков-то наш, – прошептала Тешкова и снова перекрестилась. – Царевич ведь он!

Степан Акимович молчал, наверное, минуту. А потом, не помня себя, заревел:

– Ты что плетёшь, дура?!? С тех пор, как Федька вернулся, совсем, старая, от радости с глазды съехала! Какой ещё царевич тебе?!?

– А такой, – возвысила голос Марфа Титовна, так что Тешков поперхнулся, – никогда ведь слова поперёк не сказала мужу, а тут... – Такой!

– Какой ещё царевич тебе, окстись, Марфа, – почему-то шёпотом повторил Тешков. – Казнили ж их всех. Сколько годов-то тому...

– Это тех казнили. А он спасся, – твёрдо сказала женщина. – Да это ж не я, это в народе говорят!

– Что говорят?!

– Что спасся цесаревич-то. Нашлись, сказывают, добрые люди, приютили сироту, спрятали от супостата. А после грамоте выучили, про царскую кровь ему поведали. Вот он и ходит теперь по земле. С народом живёт, чтоб народ свой, значит, узнать поближе. Чем народ-то дышит. Сказывают, он таится до поры, чтоб не проведали большевики да все прочие, кому знать про то не надобно. Он всякому ремеслу обучается, наукам разным, языкам чужеземным, чтоб, значит, Россией править, как положено, как настоящему Царю Православному подобает...

– Марфа, – простонал кузнец. – Ну, что ж ты несёшь-то, дура-баба?! Царевич-то... Он хворый ведь был! Кровь у его дурная была...

– Излечился он, – упрямо наклонила голову Тешкова, и голос её зазвенел. – Излечился народными молитвами, верую великою излечился. Вырос, возмужал и богатырём стал. И пошёл воинство русское собирать по всему свету, где русских людей разбросало, чтобы Россию вызволить... Вот как народ-то говорит, Степан Акимыч. А я как подумала, так сердце-то и зашлося у меня, – это ж про Якова нашего. Всё ж один к одному сходится! Ты приглядишься, батюшка! Книжки какие читает, думу всё время какую думает! Не иначе, царская это дума. И лик-то у него какой при этом?! Разве похож он на обычного-то хлопца?! Казаки сказывают, сам главный японский генерал в Харбине ему в пояс кланялся. Тоже признал, видать. Наверное, знак у него какой тайный есть. Может, и браслетик-то этот. Недаром он его никогда не снимает... А Палашка-то?! Это ж не баба была, а сущий леший в юбке! А с той поры, как с ним-то жить стала – ровно подменили: только и слышно, что «Яшенька» да «птенчик», а смотрит как на него! Это ж не просто так, Степан Акимыч. А Шлыков-то, – сам Шлыков, это ж подумать только!

Тешков опустил на лавку, обхватил руками голову. Проговорил глухо:

– Ты молчи про это, Марфа. Не смей никому про это говорить, про Якова-то. Правда ли, нет ли – то не нашего ума дело. Ох, не нашего! А ты молчи, Марфа. Потому как ежели лишнего болтнёшь – убьют Якова, загонят, как волка за флажки, и убьют. Вот, как пить дать...

– Да ты что же, батюшка...

– Цыц!!! – снова зашипел Тешков. – Что, думаешь, если б хотели все князья да бояре, енералы-амиралы да атаманы всякие, Царя-Батюшку и детушек малых, невинных, от погибели спасти, – не спасли б, не вызволили?! Нарочно их антихристам на растерзание отдали. Сами Святую Русь на клочки разодрали, а Царя за это кругом обвиновали. И погубили за то, чтоб правду не вызнал народ. Поняла?! Ежели проведают... Ежели догадаются... Не дадут ему в силу войти. Убьют. Молчи, Марфа!

Тешкова тяжело поднялась, подошла, села рядом с мужем, обняла крепко:

– И то правда, Степан Акимыч. Правда твоя истинная. Беречь его надо, как зеницу ока, заступника нашего! Дожить бы до избавленья-то истинного...

– Молчи, Марфа. Молчи, что твоя могила! И Палашке не вздумай говорить ничего!

– Да неужто она сама-то не чует?!

– Чует, не чует... Молчит – значит, правильно. Значит, не дурней нашего. Мы ж к ему самые тут близкие, ближе нет никого. Мы да Пелагея. Ежели мы болтать станем... Молчи. А чего ж он не крестится-то?

– Потому и не крестится. Чтоб не разгадали!

* * *

Шлыкова за добытое в «битве с Сумихарой» оружие и, что называется, «по совокупности заслуг» произвели в казацки полковники, а хорунжего Котельникова – в подьесаулы. Шашка, поданная Семёнову в качестве подарка, тоже пришлась донельзя кстати. А что сам Гурьев при этом остался даже неупомянутым, кажется, окончательно убедило народ в том, что всё неспроста.

Гурьеву, впрочем, было не до реверансов. Он, имея теперь в своём распоряжении весьма внушительный арсенал и первоклассные японские карты-двухвёрстки, при помощи бывалых казаков наладил боевую учёбу. Два бывших дядьки-вахмистра и сам Гурьев гоняли парней до семьдесят седьмого пота, так что через два месяца в его распоряжении было шесть пулемётных расчётов и отряд в сорок сабель – вполне сносных бойцов. Узнав о том, подтянулась к ним ещё две дюжины хлопцев из соседних Чижовской и Отрадной. С такими силами, организовав надлежащее боевое охранение, можно было отбиться даже от немаленького отряда нападающих.

Дилемма, стоявшая перед ним, не делалась от этого проще. Гурьев понимал, что своими действиями может – и непременно вызовет – ненужное внимание к себе и району со стороны советских войск; в то же время, оставить людей беззащитными он не имел ни физического, ни морального права. Без его усилий, направленных, казалось бы, на сугубую оборону, защитить округу было невозможно. Но и эта подготовка не могла не остаться незамеченной. Если Советы и не думали прежде о рейде сюда, то должны, просто обязаны были подумать теперь. Куда ни кинь – всюду клин. Да ещё проблемы со связью! О том, чтобы налаживать радио, не могло быть и речи. Пришлось устраивать голубиную и дымовую почту. На это тоже потребовалось немало усилий и времени, пока заработало. Зато, когда заработало, у Гурьева немного отлегло от сердца: в настоящих условиях старый проверенный способ спасёт не одну жизнь. А ловчих соколов у большевиков, как известно, не водится. Не жалуют большевики господские забавы.

Обстановка же накалялась буквально не по дням, а по часам. Хотя новости доходили нерегулярно, зачастую обрастая самыми нелепыми слухами, из газет, китайских и русских, становилось понятно: война за дорогу – дело решённое. Гурьев ни секунды не сомневался, кто в этой войне победит: даже при полнейшей японской поддержке и бешеной активности семёновцев маньчжурские отряды, громко именуемые армией, представляли собой весьма жалкое зрелище. Не глупее Гурьева было и большинство трёхреченского казацкого народа – настроение было очень и очень невоинственным. Биться с Советами во славу китайского оружия никто не рвался. Как не крути, хоть и под Советами с комиссарами, а всё же – свои, русские. Другое дело – охрана собственных угодий и пастбищ. Несмотря ни на какие усилия, ни Семёнову, ни Родзаевскому не удалось сколотить в Трёхречье сколько-нибудь значительных подразделений. Самым крупным отрядом был шлыковский, насчитывавший, по мнению Гурьева, не меньше трёхсот сабель при тачанках с «максимами» и ручных пулемётах. Сыграло свою роль и то, что советские агитаторы не дремали. И сладкие их речи удивительно ложились на настроения казаков: воевать и умирать, особенно непонятно, за что, никто не хотел.

Завёлся такой баламут и в соседней станице, а оттуда повадился и в Тыншу. Как-то вечером, во вторую по Пасхе неделю, зашёл в курень станичный атаман, поклонился сидящим за столом хозяевам и Гурьеву, который после работы частенько у Тешковых столовался:

– Доброго здоровьичка.

– Вечер добрый, – степенно отвечал кузнец. – Присаживайся зараз, Терентий Фомич. Марфа... Место гостю.

Атаман присел, выпил поднесённую хозяйкой чарку. Покряхтел, закусывая. И поднял смурной взгляд на Тешкова:

– Такие дела, Степан Акимыч. Опять Микишка приколотился, казаков с панталыку сбиват. Собрал толпу на майдане, что твой поп, и талдычит, и талдычит! Надо, мол, за речку иттить, в Совдепию, они, мол, отлютовали своё, а косоглазые токмо в раж входят. Гутарит, как бы нам всем, казакам, не пропасть через енто дело.

– А ты что?

– А я что? – атаман сердито засопел. – Я тебе кто, Керенский альбо Троцкий, в гитаторы подаваться?! Моё енто дело? Грамотный нужен кто, енто ж не шашкой рубать. Тута известный подход требуется... – Он вдруг повернулся к Гурьеву. – Яков Кириллыч! Сходил бы ты, что ль, Христа ради, послушал, как енту стервьу краснопузую унять! А?

– Ты мне парня в политику не мешай, – бормотнул было кузнец.

Но Гурьев уже светился своей, так хорошо знакомой Тешкову улыбочкой:

– Почему же не пойти, Терентий Фомич, – Гурьев промокнул губы утиркой, поднялся. – Послушать, какую новую хитрость советская власть придумала, чтобы казаков к себе заманивать, очень даже полезно.

На майдане толпилось человек тридцать казаков, чуть поодаль лузгали семечки бабы и девки. Никифор Сазонов, высокий, мосластый казак, которого станичный атаман непочтительно назвал Микишкой, заходилса соловьём, упиваясь всеобщим вниманием:

– Ить это что ж делается, братцы казаки! На чужбине маемся, а родная сторонушка без призору бурьяном зарастает! Нам что ли тута вольней живётся, чем при коммунистах? Так коммуна хучь своя, а тута...

– Так оно, так и есть, братцы!

– Верно это, конечно...

Гурьев, раздвинув плечом толпу, вышел в передний ряд слушателей, посмотрел на оратора, наклонив голову к левому плечу:

– А скажи, Никифор Кузьмич, какой твой интерес будет, если казачество дружно на советскую сторону подастся? У тебя ведь самого хозяйство немалое. Как его с места стронешь?

– Да что мне-то, – загорячился Никифор, – рази ж я за своё добро болею?! Власть-то там не китайская, а народная, понимаешь, нет?! Значит, народу через эту власть ничего худого прийти не могёт? Ить я ж за народ всей душой! Правильно я гутарю, станичники?

– Неправильно, – голос Гурьева неожиданно легко перекрыл и трепещущий баритон Сазонова, и весь прочий шум. – Я ведь не зря, Никифор Кузьмич, про твой интерес спрашивал. Ты на мой вопрос не ответил, потому что отвечать тебе нечего. Кто звонкими словами про народ и народную власть бросается, тот и есть народу самый первый супостат. За народное счастье всех людей до последнего человека извести – вот это и есть твоя советская власть, Никифор Кузьмич. Если ты этого не понимаешь – ты дурак. А если понимаешь, но линию свою дальше гнёшь – подлец и продажная шкура. Выбирай, что тебе больше любо.

– Ах ты!..

– Ай да Яшка! Вжарил, так вжарил!

– Ты не собачься, друг ситный, отвечай, коли спрашивают!

– Ответь ему, Никифор!

– Это в тебе кровь такая, паря, – отдышавшись, с угрозой проговорил Сазонов. – Кровь твоя господская, поганая, заместо тебя гутарит. Ну, ничё, мы из тебя её повыпустим-то!

– Вот, станичники, – Гурьев вздохнул и развёл руками. – Видите, что получается? Сказки у Софьи Власьевны сладкие, а чуток не по её – сразу на кровь поворачивает. Неужто вам, люди добрые, такое по нраву?

Из толпы шагнул вперёд станичный атаман, сказал, нехорошо улыбаясь и охаживая себя по шевровым голенищам сапог шегольским, туго плетёным арапником:

– Трюхал бы ты до дому, а, Никифор? Зараз твоя жёнка соскучилась, дюже давно твоих басен не слухала. Поезжай, поезжай, не доводи до греха!

Сазонов, посмотрев на лица казаков и поймав взглядом недобрый прищур Гурьева, плюнул от всего сердца, надвинул поглубже фуражку с малиновым околышем и, высоко вскидывая колени, направился к своей кобылке, переступавшей задними ногами у перевязи. Казаки, посмеиваясь и качая головами, стали расходиться:

– Ишь, как его встренуло-то! Сразу на личность перескакнул...

– Так ить куды ему против Якова-то нашего! Яков, чай, не лаптем щи в столицах хлебал, выучился, стало быть, как разных-всяких укорачивать!

– Как сказанул-то – Софья Власьевна! Это ж выдумать! Ох, ох, Яшка, уважил!

– Уважил, как есть, уважил! Никифор-то, – а?! Зашипел, ажник, повылазило!

– То-то и оно, правда, видать, все глазыньки исколола...

Гурьев улыбнулся, пожал плечами. Атаман встал рядом с ним и, глядя на расходящихся казаков, проговорил, пощипывая себя за рыжий от табака вислый ус:

– Думаю я такую думку, Яков Кириллыч. Война-то будет, как мыслишь?

– Обязательно будет, Терентий Фомич, – вздохнул Гурьев, из-под ладони наблюдая, как рысит Сазонов на своей кобылѐнке прочь из Тынши. – Железка – уж больно лакомый кусок и для китайцев, и для японцев, а не то, упаси Господь, Америка с Англией в это домешаются. Да не хитростями какими, а прямой военной силой. Тогда уж нам между ними тяжеленько будет. Выдавят из нас весь сок по капельке.

– А я про что, – атаман сердито огрел себя плетью по сапогу, да так, что сам сморщился. И сказал с болью: – Вот же чёрт какой! Далась Микишке эта коммуня, будь она неладна! Ить добрый был казак, брательника моего односум, с ним в одной сотне выслуживал, всю германскую войну стремя к стремени прошли... Эх, – он снова посмотрел на Гурьева. – Ты вот чего, Яков Кириллыч. Хлопец ты дюже грамотный, почитай, грамотней тебя в округе и нет никого, и к военному делу душа у тебя лежит. Бери-ка ты, сынок, насеку, будешь у нас войсковым.¹¹ Со стариками гутарили мы уже – бери, а больше некому. Соседи наши, чижовский да прочие, тоже на тебя согласные.

– Да вы что, Терентий Фомич, – Гурьев едва не отшатнулся. – Да какой же из меня атаман?! Не казак я, да и вообще – что, мало заслуженных бойцов, кавалеров? Да вот хоть Илья Пантелеев – до хорунжего...

– Ты послухай меня, Яков Кириллыч, – набычил голову атаман. – Кто у нас в станице молодец – я не хуже тебя разумею. А только я своим худым умишком раскидываю, что удаль на германской войне казатъ да кресты на грудь ловить – енто одно. А грамотно, по-военному обороняться, чтоб не взяли врасплох и людишек в растрат не пустить – тут другое. Тут на одной удали да лихости казацкой не выедешь. А у тебя голова – нашим не чета. И не возражай ты, Христа ради, я ить не девку тебе сватаю. А подмогнуть тебе подмогнѐм, одного не выставим, не тушуйся. Сход в воскресенье. Уж ты уважь нас, стариков, такое дело.

– А станичники? – тихо спросил Гурьев, глядя в землю.

– Не сумлевайся, Яков Кириллыч. Доверие тебе полное. Сам знаешь. Зря, что ль, команду свою день и ночь по сопкам при полной амуниции гоняешь?

– Я в атаманы не метил, Терентий Фомич. А команда эта не моя.

– Ну, будя, – сердито бросил атаман и опять хлопнул арапником по голенищу. – Не метил, а зараз угодил. Гутарить про то не будем больше, сход решит. И чего решит, я тебе прямо сейчас говорю, чтоб ты, Яков Кириллыч, готовился. Окажи Божескую милость, не заставляй меня слова попусту ронить.

– Хорошо, Терентий Фомич. Если для дела – я не против, – Гурьев чуть заметно качнул головой, сжал в нитку губы. – Чести такой я, конечно, не заслужил, но против народа ни за что поперѐк не пойду. Надо – значит, надо.

¹¹ Войсковым атаманом, т. е., в данном случае, командиром станичного ополчения.

– Вот, – повеселел атаман. – Енто дело другое. Прошевай, Яков Кириллыч, до воскресенья, значит.

– До свидания, Терентий Фомич.

Так и сделался Гурьев в одночасье казаком. На сходе поднесли ему станичники шашку, фуражку, погоны и уздечку, украшенную серебром. И насеку войскового атамана. Тешков сиял, как будто его родного сына в генералы произвели. Вот только праздновать было некогда. Потянулись ещё из-за речки беженцы – в Совдепии начиналась беспощадная борьба с кулаками-мироедами, кулацким элементом, подкулачниками и их вдохновителями – попами. Так что забот у станичных атаманов – не только у тыншейского – хватало, и то, что Гурьев именно в этот момент взял на себя обязанности «дружинного князя», пришлось как нельзя кстати. А там видно будет, думал Гурьев. Нам бы эту войну, будь она неладна, перекантоваться...

Не обнесла горькая чаша сия – с беглецами – и Тыншу. Сидели в подводах, всклокоченные, растерянные, не знающие, куда себя деть, маялись, дымили, последний табак растрачивая. Такой бедой несло от этих людей, что кулаки сами собой сжимались.

– Эй, односум, – окликнул один из беженцев пожилого казака, что вышел от станичного атамана. – Огоньку не найдётся?

– Отчего ж не найтись, – откликнулся тот, спускаясь с крыльца. – Найдётся, без огоньку у нас не бывает.

Сели, свернули каждый свою «козью ногу», закурили. Беженец-казак посмотрел на станичника:

– Скажи, односум... Энто кто ж за мальчишечка, что у вас тут командует? По лицу видать, что господской наружности?

– А чего? – усмехнулся местный.

– Дак я ничего, – заторопился беженец. – Я ничего, однако дюже любопытно мне энто. Вишь, у вас тута господа ещё из благородных имеются. А у нас-то... Там...

– То-то и оно, – кивнул станичник. – Постреляли господ, дюже люто постреляли. А тапери-рича-то – навалились жида с комиссарами, а оборониться-то и некому. Думали – сами с усами, а вышло – боком.

– Вот и я чего, – тяжело вздохнул беженец. – Эх! А он-то... Давно тут у вас?

– Може, давно. А може, и недавно, – сбрасывая ногтем указательного пальца пепел с самокрутки, проговорил с расстановкой казак. – Главное, на месте человек, как полагается. Так-то нам всем ловчей выходит.

– Дак я ж разве против, – согласился беженец, – я ить чего? Ён, видать по всему, дюже сурьезный. Боевой, видать. Энто чудно, однако... Уж больно молоденек... Как же, распорядиться-то, получается, больше некому?

– А кому ж распорядиться, – непонятно усмехнулся станичник. – Отца с матерью, да родню всю, почитай, извели комиссары проклятые, только за кордон кто ежели убёг. Вот и выходит – окромя его, никого не осталось. Выходит, его черёд распорядиться. Уразумел, односум, иль ещё тебе глубже растолковать?

Беженец, посмотрев на станичника, побледнел, торопливо затушил чинарик о сапог и перекрестился.

Тынша. Июль 1929

Он не мог сейчас уехать. Сейчас – не мог. А в первых числах июля в Тыншу пришли шлыковцы. Вернее то, что от них осталось, – треть. Сто восемь сабель, включая Котельникова, до предела измотанные, злые и растерянные. И раненый в брюшину сам Шлыков.

Совсем плох был атаман. Много крови потерял, и держался каким-то чудом. Только от потери крови мог давно умереть, не говоря уж о тряске пути, что из здорового человека все кишки вытянет. Гурьев это сразу увидел, войдя к Тешковым в избу, куда положили Шлыкова. Синюшно-бледный, полковник тяжело, прерывисто дышал, хотя и был в сознании. Лучше б обеспамятел, подумал Гурьев, наливаясь свинцовым бешенством.

Он склонился над Шлыковым, нажал пальцами на точки, снимая сильную боль. Атаман громко вздохнул, задышал ровнее. Гурьев выпрямился, бросил:

– Света мне. И поскорее.

– Вот, Яков Кириллыч... – Шлыков попытался улыбаться.

– Молчи, полковник. Не хорохорься, я ещё рану не видел.

– Лекарь ты, что ли?!

– А других нет, – хлестанул голосом Гурьев, словно нагайкой. – Котельников, нож подай.

Принесли фонарей. Гурьев разрезал на атамане одежду, осмотрел рану. Пуля вошла наискось, застряла, скорее всего, в тазовой кости. Канал был ещё чистым, гноя не наблюдалось. И кажется, никаких кишок не задело. Просто удивительно счастлив твой Бог, полковник, подумал Гурьев. Если перитонит не начнётся. У него появилась не очень твёрдая ещё, но надежда.

– За доктором послать?

– Не успеет доктор. Самим придётся. Что, атаман, потерпишь?

– Потерплю, – Шлыков зашипел от боли, причинённой прикосновениями к ране, поморщился. – Потерплю. Всё едино. Принимай командование, Яков Кириллыч.

Гурьев поднялся, прошёлся по избе из угла в угол. А ведь не откажешь, подумал он. Как же это меня угораздило?

– Это в каком же качестве?

– Ты послушай, Яков Кириллыч, – быстро заговорил Котельников. – Это ж не Иван Ефремыч один-то, это все... Когда ранили Иван Ефремыча... Решили мы сюда идти и тебя спросить. Казаки тебя дюже уважают. Ить недаром тебя на войсковые. Да Иван Ефремыч сам...

– Я спрашиваю, в каком качестве? – яростно повторил Гурьев, пытаясь взять себя в руки и злясь на себя за то, что это получается не слишком хорошо. – Я ведь даже...

Гурьев хотел сказать – «не казак», но вовремя осёкся.

– У тебя душа, – прохрипел Шлыков. – Душа у тебя к людям, друг любезный. Уважь, Яков Кириллыч. Выручи. Прохор... Погоны...

Котельников полез за пазуху и, достав новенькие полевые погоны с двумя красными просветами, протянул Гурьеву:

– Прими, Яков Кириллыч.

– Это произвол, – тихо сказал Гурьев, оставаясь неподвижным. – Произвол и маскарад. Я в ряженные не нанимался.

– Яков Кириллыч. Я тебя... назначаю. Имею право. Чрезвычайные обстоятельства...

– Ну, это уж совсем в большевистском духе, – скривился Гурьев. – Какая чрезвычайщина?! Возвращайтесь в Драгоценку, переформируйтесь, получите пополнение – и опять за речку.

– Мы не пойдём, – глядя в упор на Гурьева, отрезал Котельников. – Ты прав оказался, Яков Кириллыч. И насчёт войны, и вообще. Раз твоя правда – тебе и отрядом командовать.

– Приказ я подписал, – проскрипел, борясь с неумолимо наплывающим на него беспаятством, Шлыков. – А атаман... Ежели Григорий Михалыч не утвердит... Утвердит, это ж для нашего дела... Слышишь, Яков Кириллыч?!

– Это партизанщина, а не война, вы это понимаете?!

Я так многого не знаю и не умею, с тоской подумал Гурьев. А не для этого ли я учился? И? Как же мне быть-то теперь?

– Нельзя ему, – тихо проговорил вдруг Тешков, глядя в пол.

И все трое – и Шлыков, и Котельников, и Гурьев – уставились на него.

– Ты это чего, Степан Акимович? – тихо спросил, снова морщась от боли, Шлыков.

– А того, – обжёг его взглядом кузнец. – Будто не знаешь! Нельзя ему. Не время ещё. Не пришло ещё его время. Не главная это война, не наша, не русская. Пуля летит – фамилий не спрашивают! И нечего голову его подставлять. Вон, Котельников, – пускай он командует. Чай, не первый день в седле!

Но Гурьев уже принял решение:

– Я приму отряд, Иван Ефремович, – он кивнул. Решение было нелёгким само по себе, а уж то, куда оно могло его завести, было и вовсе неведомо. Но... Гурьев взял погоны, вздохнул, покачал головой. – Пока не поправишься.

– Поправлюсь, как же.

– Поправишься. А там увидим. Настюша, – позвал Гурьев. И, когда старшая дочь Тешкова зашла в горницу, приказал: – Быстренько за Пелагеей Захаровной. А вы, Степан Акимович, – со мной в кузницу. Нужно инструменты сделать, пулю достанем. Пошли.

– Яков...

– Всё, всё. Болтать некогда. Вот совершенно. Идите пожалуйста, дядько Степан. Я скоро. Есаул.

– Слушаю, Яков Кириллыч, – вскочил Котельников.

– Построй отряд, есаул. По-пешему.

– Есть!!!

– Спасибо. Я... – и Шлыков провалился, потерял сознание.

Гурьев, проводив взглядом угрюмого кузнеца, вдруг резко прижал мыском ладони левую щёку, не дав ей задёргаться в тике, и вышел вслед за ним на улицу.

Котельников построил отряд на майдане в две шеренги, сам встал чуть в стороне. Гурьев кивнул ему, оглядел казаков, прошёлся вдоль строя.

– Ну и ну, – протянул Гурьев насмешливо. – Видо-о-о-чек. Вы воинская часть, подразделение Русской Армии, а не банда конокрадов. Два часа на то, чтобы привести себя в порядок. Погоны, пуговицы пришить. Умыться, бороды, усы подстричь и побриться. Р-р-разодись!!!

Кивнув коротко Котельникову, вернулся в избу. Марфа Тешкова сидела возле полковника, осторожно протирая его лоб смоченным в ледяной воде рушничком. Губы у неё тряслись. Гурьев отстранил её, склонился над Шлыковым.

Пришла Пелагея, без единого лишнего слова взялась за приготовления. Гурьев, погладив её по плечу, направился в кузницу.

Закончив с зондом и щипцами, вернулся в избу и, умывшись, снова вышел на улицу, к отряду. Новый вид казаков понравился ему больше. Гурьев кивнул:

– Слушать меня внимательно, – Гурьев говорил тихо, но таким голосом, что у видавших, кажется, всё на свете казаков мороз по спинам пошёл, словно им кто по горсти снега посреди летней жары за шиворот сыпанул. – Мы – Отдельный Казачий Отряд Маньчжурского Казачьего Войска России. Знамя наше – чёрно-жёлто-белое, русское, во многих боях прославленное. И больше – никаких набегов. Там, за речкой – наш народ, загнанный большевиками в египетское рабство. Обложенный страшными кровавыми налогами не затем, чтобы вдов и сирот от нужды уберечь, а затем, чтобы русским золотом, русским хлебом и русской кровью раз-

жечь негасимый пожар мировых революций. Чтобы не было больше народов, чтобы не стало человека, чтобы превратить всех в бессловесное стадо, в тварей дрожащих, ни родства, ни имени непомнящих. Против этого – всякий человек наш природный союзник. Всякое племя – китайцы, японцы, немцы и британцы, турки и зулусы. Все без исключения. В том числе и жида. Большевики – мерзость. Не агенты, не супостаты, – просто мерзость. Их – море, нас – мало. За ними – сила, за нами – правда. Ваша дело – боевая учёба, воинское мастерство, верный расчёт, глазомер и точность, знание своего личного манёвра, доверие командиру. Потому – дисциплина. Никаких обозов, никакой добычи. Кто к такому не готов, разрешаю уйти. Времени даю на размышление – до утра. Кто останется – останется до конца. Кто нарушит приказ – лично развалю до просагу. Всё. Вопросы? Нет вопросов? Добро, – Гурьев оглядел ещё раз бойцов, кивнул. – Вольно. Есть, пить, оправляться, курить, коней кормить, оружие чистить. Думать. Р-разойдись.

Гурьев вернулся в избу кузнеца, где Пелагея уже хлопотала над раненым. Шлыков пришёл в сознание – на здоровье полковник никогда не жаловался, и Гурьев, воздействуя на резонанс организма, произвёл эффект даже больший, чем сам ожидал.

– Выйди, Полюшка, – ласково сказал Гурьев. – Нам с Иван Ефремычем парой слов переброситься необходимо. Все выйдите.

Пелагея, кивнув, вышла. За ней потянулись и остальные. Когда Тешков осторожно приотворил за собой дверь, лицо Гурьева в тот же миг сделалось злым, чужим:

– Что, полковник? Победил большевиков? Нахлебался комиссарской крови?

Шлыков засопел, отвернулся.

– Кто сейчас за тобой? – продолжал Гурьев. – Разве армия великой страны? Или прогрессивное человечество? Ты для чего людей под удар подставил, зачем тигра за усы тянешь? Японцы и Гомиьндан твоими руками жар загребают, а ты и рад стараться?! А сейчас по твоим следам сюда полки советские придут, хозяйства разорят, людей в Совдепию угонят. Не японцев с китайцами – казаков твоих родных. Ты этого хотел?

– У меня приказ.

– Ты боевой офицер, а не кукла, – прищурился Гурьев. – Или тебе неведомо, что приказы бывают преступными? Ладно. Договорим, когда выкарабкаешься. Я отряд принял, и воевать теперь он станет по-моему. Я семёновскому штабу подчиняться не намерен, я не природный казак и вообще никому не присягал. Обязанность моя перед этими людьми – их защитить в меру сил и способностей. А сил, и, главное, опыта – с гульки хрен. Всё. Сейчас я тебя оперировать буду. Молись, атаман.

Первача натащили со всей станицы. Казаки переложили Шлыкова на стол, и Гурьев с Пелагеей приступили к операции. Повезло – пулю достали довольно быстро. Шлыков рычал от боли, впившись зубами в обмотанную чистой тряпицей деревяшку. Такого Гурьеву ещё никогда не приходилось ни видеть, ни тем более самому творить. Одно дело – медицинский трактат читать, другое – в живом человеке ковыряться. Его даже слегка затошнило. Слегка, но всё же.

Наконец, пуля звонко стукнулась в медный тазик, который держал бледный Котельников:

– Всё, – выдохнул Гурьев и бросил зонд. – Полюшка, рану протри, затампонируй. Я сейчас передохну и иголки поставлю. – Он положил руку на мокрый и горячий лоб Шлыкова: – Будешь через два месяца как новенький, атаман. Обещаю.

Утром отряд снова выстроился по команде подьесаула на майдане. Не досчитались пятерых. Теперь предстояло самое трудное. Казачий отряд – оружие наступательное. Казак в обороне – всё равно, если б самолёт не по небу летал, а по земле ползал. Но именно оборону долины реки, в которой, кроме Тынши, ещё полдюжины станиц, побольше Тынши и поменьше, требовалось организовать в самом пожарном порядке. Со Шлыковым он даже посоветоваться не мог – началось ожидаемое нагноение, температура за сорок, так что толку от атамана не было никакого. Всё сам, думал Гурьев. Всё сам.

Тынша. Июль – август 1929

Местное «ополчение» слили с отрядом, получилось двести сабель. Сотники командовали теперь полусотнями, вахмистры – десятками. Младшими командирами, особенно Котельниковым, Гурьев остался в высшей степени доволен. Единственное, чего он не мог до конца понять, – это причину того почти обожания, с каким казаки жрали его глазами. Гурьев с ужасом представлял себе, во что может превратиться это обожание, посмей он его не оправдать.

Но и не воспользоваться этим обожанием он не мог. Из банды следовало сделать отряд, и Гурьев впрягся. И дрючил казаков так, как их ещё никогда в жизни никто не дрючил. По шестнадцать часов в сутки. Может, кому другому и не подчинились бы не слишком привыкшие к дисциплине казаки. Вот только Гурьев был не «другой». Слишком свежи были в памяти людей и слухи, окружавшие нового командира, и результаты боя с хунхузами, которые иногда и казаков умудрялись потрепать неслабо. Было что-то ещё в этом хлопце, что-то такое, чему битые-перебитые черти-казаки названия не знали, зато чувствовали как нельзя лучше. И это «что-то» заставляло их слушаться и беспрекословно выполнять команды. А к концу второй недели втянулись и самые записные ворчуны. Им даже начало это нравиться. Потому что они вдруг почувствовали себя – армией.

Судьба отпустила им сорок один день передышки. А на сорок второй...

Под утро – ещё петухи только голоса пробовали – Гурьева разбудил вестовой. Да он и не спал, собственно, – так, одним глазом. Он вышел на улицу. У ворот стояли две подводы, на одной из которых он узнал шорника Топоркова из станицы Пореченской. Казак плакал. Гурьев шагнул к телеге, откинул рогожу. И отшатнулся – пахло жареным мясом. Человечиной.

– Рассказывай, – тихо проговорил Гурьев.

– Третьего дня, – всхлипнул шорник. – Я за кожами в Драгоценку ездил... Потому и жив, видать. Никитинский хутор и Дунаевский. По брёвнышку раскатали, всех... всех порешили. Ох. У нас завод воронцовский разграбили, всех за речку увели, скот увели, всё. Тут вот... Павловы. Все шестеро. На масле их... С дитями малыми... А в той подводе – отец Василий с сыном... Матушка с дочками – не знаю. Может, тоже убили, да кинули где...

Вышел Шлыков, поддерживаемый с двух сторон Тешковыми. Полковник сам ещё передвигался плохо, но залёживаться Гурьев ему не давал. Он взглянул на жуткий груз в подводе, отвернулся. Гурьев склонился к его уху и прошептал:

– Думаешь, не будут тебе эти дети во сне приходить, атаман? Будут. И мне будут.

Он повернулся к Котельникову:

– Прохор Петрович. Распорядись, я в этих делах плохо ориентируюсь. Батюшку привезите, ну, ты сам знаешь. Сотням – полная боевая готовность.

Котельников кивнул и вскинул руку к папахе.

Вечером, выслушав доклады разведчиков и разложив на столе карты, Гурьев сказал:

– Если я правильно понимаю, маршрут они свой завершили и теперь должны возвращаться за речку. Вряд ли они пойдут другой дорогой, – он указал на карте предполагаемое направление движения красного отряда. – Скорее всего, именно здесь они пойдут. Поэтому мы тоже сюда выдвигаемся и будем их ждать. По численности они примерно равны нам, но наше преимущество – они нас не ждут. Основные силы заняты по линии границы и железки, так что здесь, в оголённых тылах, эта мразь себя чувствует вполне в безопасности. Вот на этом мы их и поймаем.

Отряд выдвинулся в долину Тыншэйки, занял назначенные позиции. Всё произошло именно так, как и предполагал Гурьев. Красные втянулись в узкий проход, из которого открывался выход на оперативный простор, откуда до границы оставалось не более пятидесяти вёрст... Сначала прицельный залп охотников выбил командиров. Отряд в панике завертелся.

И тут по ним ударили свинцовые струи из шести пулемётных стволов. А подготовке пулемётных команд Гурьев уделил самое пристальное внимание.

Бой, – если расстрел полутора сотен всадников можно назвать боем, – закончился, не начавшись. Когда замолчали пулемёты, со склонов сопок слетели с шашками наголо две полусотни шлыкковцев. Гурьев, поворачивая Серко на мелководе, подвёл итог, посмотрев на Котельникова:

– Неплохо для первого раза. Кто бежал – бежал, кто убит – убит. Потери?

– Никак нет.

– Это радует, – он усмехнулся. – Разрешаю вопрос, есаул.

– Что с ранеными делать?

– Какими ранеными? – удивился Гурьев. – Ничего про раненых не знаю. И знать не хочу.

Ещё вопросы?

– Никак нет, – Котельников чуть привстал на стремях, лицо его пошло красными пятнами.

– С бандитами не воюют, – тихо проговорил Гурьев, не сводя глаз с казака. – Бандитов режут, как паршивых овец. Делай, как я!

Он спешился, вынул «люгер» из притороченной к передней луке седла кобуры, загнал патрон в ствол и, подойдя к одному из шевелившихся партизан, выстрелил почти в упор. Пуля подействовала, как сверхскоростное сверло в сочетании с паяльной лампой, разворотив череп и выплеснув кровь и ошмётки мозговой ткани на мокрую гальку. А Гурьев, беззаботно что-то насвистывая, двинулся дальше. Второй выстрел. Третий. Ух ты, подумал Котельников. Ну, мы... Мы – ладно. А в тебе-то это откуда? Неужели и вправду – оттуда, из мёртвого этого дома?!

У новичков зрелище это вызвало вполне понятные чувства. Бывалые держались получше, но... Кто чего не понял, поймёт со временем, подумал Гурьев. Война – дерьмо и мерзость, и тот, кому нравится воевать, подонок и сумасшедший. А мне, кажется, нравится.

Он увидел, как кто-то из казаков потянул из ножен шашку.

– А-а-атставить!!! – взревел Гурьев. – Пуля в голову, и никаких упражнений, вашу мать!!! Кто ещё не уразумел?!

Они вернулись в станицу уже на закате. Пелагея шагнула к нему из толпы, пошла рядом, держась рукой за стремя, не говоря ни слова. Гурьев наклонился, погладил её по плечу.

На майдане Гурьев построил отряд:

– Поздравляю новичков с боевым крещением, и всех вместе – благодарю за службу. Казакам – отдыхать. Командиры – ко мне.

Он вернулся домой, отпустив людей. Он уже привык называть это место домом. Это и есть мой дом, подумал Гурьев. Здесь и сейчас. Полюшка. Голубка моя. Что же мне делать? Кто-нибудь, чёрт возьми, знает ответ?!

Освободившись от оружия и портупей, он устало опустился на лавку у окошка, улыбнулся Пелагее. Она подошла к нему, села рядом. Гурьев, вздохнув, повернулся и вытянулся вдоль лавки, положил голову женщине на колени, закрыл глаза. Она погладила его по волосам, по лицу:

– Бедный ты мой. Господи Иисусе, что ж, война эта проклятая, – кончится когда-нибудь?!

– Нет, – усмехнулся Гурьев. – Не кончится. Наши все целы – и слава Богу. А чего же ещё искала душа моя, и я не нашёл?

Не прошло и недели, как секреты и разведчики доложили о новом партизанском отряде красных. Гурьев распорядился не вступать в боевое соприкосновение с ним, выждать. Было понятно, что этот отряд отправился по следам предыдущего. Людская молва разукрасила подвиги шлыкковцев такими цветами, что, приняв их за чистую монету, следовало всех немед-

ленно произвести в полные георгиевские кавалеры. Ни дня без песни, подумал Гурьев. Интересно, сколько нам ещё ждать, пока пришлют дивизию? Он не боялся. Что толку бояться.

Был уже вечер, когда в избу ворвалась запыхавшаяся девчонка:

– Тётъ Пелагея, тётъ Пелагея! Катерина-то, с Покровки! Рожает!

Пелагея стала собираться.

– Куда?! – рыкнул Гурьев. – Красные где-то рядом рыщут. Полюшка!

– Да как же, родненький? – Пелагея остановилась, улыбнулась смущённо. – Как же без меня-то?

– Ты что, клятву Гиппократова давала? – зло спросил он, понимая, что Пелагея поедет. – Полюшка.

– Клятву? Каку таку клятву, Яшенька, ты что?

– Ничего, – он встал, шагнул к женщине, обнял, прижал к себе. – Смотри, осторожно, голубка моя. Если что подозрительное, сразу прочь скачи. Обещаешь?

– Обещаю, Яшенька, – Пелагея подняла руку, погладила его по волосам, по щеке. – Ты не возражай. Ничего не будет со мной, я ж ведьма, забыл, что ли?

– Смотри мне, – Гурьев тихонько её встряхнул и повторил: – Смотри. В оба смотри, Полюшка.

Роды были первые и долгие. Вообще роженица давно, ещё с первых месяцев, вызывала у Пелагеи беспокойство, она даже несколько раз заезжала в Покровку проведать молодуху, проследить, всё ли в порядке. Она вымоталась так, что едва держалась на ногах. Малыша запеленали и унесли, орущего, а Пелагея присела, взяла кружку, наполнила водой...

Они ввалились в курень, – Пелагея и ахнуть не успела. Встали вокруг, ещё разгорячённые скачкой, воняющие конским и собственным потом, кислым запахом сбруи, дышащие тяжело и надсадно...

– Встать, сука белогвардейская!!! – Толстопятов ткнул Пелагею в бок стволом «нагана». – Ишь, расселась!

Ещё двое схватили под руки, не давая опомниться, вздёрнули вверх. Пелагея посмотрела на них. Смолчало на этот раз сердце-вещун. Видать, кончилась жизнь моя, подумала Пелагея, и улыбнулась. Страх не было. Ярость, – неукротимая ярость разворачивалась в ней огненной пружиной.

– Эта? – спросил Толстопятов.

– Она, – вздохнул казачишка, что был с красными. Покосился на Толстопятова, на комиссара, – и вдруг бухнулся женщине в ноги, завыл страшно: – Прости, матушка! Прости душу грешную! Детушки малые ведь у мяне! Прости...

Толстопятов, матерясь, пнул доносчика сапогом изо всех сил, и тот, икнув, отлетел в угол, затих.

– Бог простит, – зло усмехнулась Пелагея. – Ну, чего смотришь, сволота?! Стреляй!

– Стрельнуть я тебя успею, – ощерился Толстопятов. – Сначала расскажешь нам про царевича своего. Принцесса!

Несколько секунд она смотрела на Толстопятова, словно не понимая, что услышала. Неужто правда это, подумала Пелагея. Яшенька, царевич мой ненаглядный. Царевич, нет ли... Пускай, хоть и царевич – а мой. Был мой. Яшенька, сокол мой, свет мой ясный. Отпущу тебя теперь, родненький.

– Замудохаешься спрашивать, – прошипела Пелагея. – Стреляй, вошь краснопузая. Ни словечка от меня не добьёшься, гнусь!

– Ска-а-а-ажешь, – Толстопятов потащил шашку из ножен. – Я тя, стерва, на ремни порежу. По жилочке из тебя вытяну. У-у-у, ведьма! Ска-а-а-ажешь...

– А попробуй, – захохотала Пелагея, и вдруг двинула бёдрами так бесстыдно, что у мужчин вмиг вспотели ладони. – Попробуй, боров толстомясый. Ублажи меня пуще моего царе-

вича. Авось, и скажу тогда. Только где тебе, болезный, – добавила она жалостливо. – Здоров-то ты здоров. А хуёчек-то, – во! – Пелагея показала Толстопятову самый кончик острого языка.

Она отлично знала, что делает. Ей нужно было, чтобы он озверел до потери сознания и убил её сразу. Иначе... О том, что случится, если ей не удастся довести их – особенно Толстопятова – до кондиции, Пелагее не хотелось думать.

Она угадала. Взревев, Толстопятов махнул шашкой, отпрянули в стороны державшие Пелагею бандиты. В последний миг, испугавшись, что сабельный удар изуродует её лицо, Пелагея чуть отклонилась вправо. Бритвенно-острый клинок вошёл в тело, как в масло, рассадив его от ключицы до диафрагмы. Пелагея медленно осела на пол и легла, – как будто даже сама.

– Прощай, Яшенька, – розовые пузыри показались на губах Пелагеи. – Прости.

Она хотела сказать ещё «не забывай». Не успела. Не хватило воздуха. Она вложила в этот выдох все силы, что у неё оставались ещё, – так желала, чтобы он услышал. С выдохом и душа отлетела. Тихо-тихо.

– И что дальше? – стараясь не глядеть на подплывающее в крови тело, кривясь и еле сдерживая рвоту, спросил уполномоченный Забайкальского ОГПУ, по совместительству комиссар отряда, Жемчугов. – Нас послали выяснить личность этого. А не...

Жемчугов, настоящая фамилия которого была Перельмуттер, не первый день находился на «ответственной работе». На Гражданскую войну Перельмуттер по малолетству не сподобился, но в советское уже время добрал. Всякие приходилось ему выполнять «партийные поручения» и «задания партии», вот только рубить женщин шашками пока не угораздило. Оказывается, довольно неприятное зрелище, поморщился он.

– Он в Тынше засел, – просипел Толстопятов. – Вёрст двадцать, тут недалеко. Я знаю. Да и нету никого там. Хлопцы деревенские. Как цыплят, перережем. Бля-а-а-ади...

– Товарищ Толстопятов, – Жемчугов вскинул голову. – Тебе не кажется, что ты упрощаешь? Отряд Фёфёлова был никак не менее нашего. До сих пор о нём нет никаких сведений.

– Я сам знаю, – Толстопятов посмотрел на комиссара. – Я за этой подстилкой давно охотился. Я её достал. А завтра этого достану. Бляди! – и повернулся к партизанам: – Всю эту хуету кулацкую – в амбар! Живо!

– А с этой?

– Пускай лежит до завтра. Уходить будем – костерок запалим. Давай, шевелись, сказал!

* * *

Гурьев вскочил, словно подброшенный катапультой. В ушах отчётливо звенел голос Пелагеи: «Прощай, Яшенька. Прости. Не забывай...»

Он завертелся по комнате раненым зверем – и вдруг замер. Она мертва, подумал он. Её больше нет. Полюшка. Полюшка, голубка моя. Что же это такое?!

Вестовой казак проснулся, подскочил, протирая глаза... Посмотрев на Гурьева, охнул и вылетел на улицу, как был, в исподнем. Гурьев услышал его крик:

– Со-о-отня-а-а!!! В ружьё-о-о!!!

Котельников подъехал к командиру, посмотрел вопросительно. Гурьев, удерживая нервно перебирающего ногами Серко, проговорил, не глядя на есаула:

– Выкликай охотников, Прохор Петрович. Половину отряда возьмём, больше не требуется. Разведку два по два – вперёд. Никуда не торопимся, они нас не ждут.

– Успеем, Яков Кириллыч.

– Некуда успевать, есаул, – жутко усмехнулся Гурьев, и конь под казаком всхрапнул, затряс уздечкой. – Рысью, – марш-марш!

За полчаса до рассвета показались курени на окраине Покровки. Двое пластунов, что успели обучиться безмолвному языку жестов, вместе с Гурьевым ушли в разведку. Котельников хотел было его удержать, но, посмотрев Гурьеву в лицо, понял: не стоит.

Вернулись, когда свет восхода уже обозначился над перелеском. Отряд, полсотни сабель, командир, комиссар. Гурьев вынул из офицерского планшета бумагу и карандаш, быстро нарисовал план станицы, пометил дома, где распряглись на постой красные, разделил силы, поставил боевую задачу. Котельников слушал и смотрел во все глаза, молча костеря себя, на чём свет стоит: сам бы ворвался наскоком, поднял бы шум, и так гладко, как у Гурьева, ни за что б не вышло. Прохора трясло от ненависти и жажды схватки, но видя ледяное спокойствие атамана, каким уже привык считать Гурьева, он успокоился сам и увидел, как подбираются и сосредотачиваются казаки, усваивая толковый манёвр. И понял с куда большей, чем прежде, отчётливостью: и в этом бою будет с ними удача. В любом бою, куда поведёт сотню Гурьев.

Это был даже не бой – резня. Гурьев тоже – рубил, колот. Не противники, не воины – мясо для фарша. Тупые, неповоротливые, налитые самогоном мешки с дерьмом. Они даже не успевали его увидеть. Умирали много раньше. Не долетев до земли.

Зато шлыковцы увидели Гурьева. В рубке настоящей, лицом к лицу – первый раз. Тот бой, в долине, без рукопашной обошёлся. Ух, подумал Котельников, чувствуя, как дрожь доходит до костей. Да кто ж он таков-то, Господи?!

Гурьев влетел на крыльцо, ударом ноги сорвал дверь с петель. Пелагея лежала, вольно раскинув руки, с улыбкой на побледневших губах. В углах рта запеклось немного сукровицы. Пол блестел коричневым лаковым пятном – кровь успела впитаться в свежeweыскобленные доски. Он рухнул перед ней на колени. Ушла, подумал Гурьев. Не захотела без меня. Полюшка.

И, закрыв ей глаза, поцеловал в остывший уже, чистый, высокий, восковой лоб:

– Прощай, Полюшка. Спи, голубка моя.

Он осторожно разрезал ремешок ножен на шее женщины, – не успела вытащить свой кинжал волшебный, подумал Гурьев. Или не захотела? Он повёл головой из стороны в сторону, положил нож в планшет, медленно застегнул пуговицу на клапане и поднялся. Вышел, медленно спустился по ступенькам. Заглянув ему в лицо, Котельников жалобно ахнул и отшатнулся, заслоняясь руками. А Гурьев, улыбнувшись, спросил:

– Кто донёс?

Не прошло и пяти минут, как притащили казачишку, что привёл в Покровку красных. Тот завыл, пополз к ногам Гурьева, поднимая пыль:

– Не губи, батюшка! Не губи-и-и! Детушек пожалей! Не со зла...

Гурьев, посмотрев на ползающего в пыли, как червяк, человека, – человека ли? – прикрыл усталые глаза, проговорил в полной тишине, – кажется, даже ветер утих:

– Что вы за люди?! Скольких детей она у вас приняла, сколько выходила. – Гурьев обвёл взглядом толпу и снова посмотрел на мужичка. Усмехнулся: – Мараться об тебя? Живи. Детям – расскажут. Сам расскажешь, что натворил. Как жить с этим станешь, меня не касается. Может, и хорошо. Кто тебя знает.

Он стоял, смотрел, как подгоняют к крыльцу подводу, как казаки выносят – осторожно, словно боясь потревожить – тело Пелагеи. Смерть есть, подумал Гурьев. Конечно, смерть есть. Я это знаю. Я всегда это знал. И сегодня как раз отличный день для смерти.

– Здесь хоронить будем? – тихо спросил, подойдя ближе, Котельников.

– Много чести этому месту, – дёрнул верхней губой Гурьев. – В Тынше. Там её дом. Там её жизнь текла. Пусть там и закончится. Доложи обстановку, есаул. Потери?

– Четверо легко раненых. Убитых нет.

– В живых кто остался из этих?

– Яков Кириллыч...

– Есаул. Я задал вопрос.

– Так точно. Этот. Который Пелагею Захаровну... Толстопятов. Я его давно знаю, с гражданской. Ещё восемь раненых. И комиссар, или кто там...

– Толстопятова и комиссара сюда, остальных к стенке. Что?

– Яков Кириллыч. Дозволь, Христа ради! Этого...

– Я сам.

– Может...

– С-сюда, я сказал.

– Есть, – козырнул Котельников. И развернулся к казакам: – Борова сюда. И пархатого тоже.

Толстопятова и Жемчугова приволокли, поставили перед Гурьевым. Жемчугов, кажется, находился в состоянии некоей прострации – его взяли в самый тихий час, когда он умудрился заснуть. Он до сих пор ещё не понимал до конца, где он и что с ним. Гурьев жестом приказал подвести его ближе:

– Кто такой?

Жемчугов тупо смотрел на Гурьева. И вдруг громко, так, что стало слышно всем вокруг, пустил ветер, – длинно, переливчато и с присвистом. Казаки загоготали.

– Исчерпывающе, – усмехнулся Гурьев. – А знаешь что, дорогой товарищ?

Он улыбнулся стеклянно и вдруг, резко шагнув к оперуполномоченному, хлопнул его с размаху обеими руками по рёбрам. Со стороны это выглядело так, будто он комиссара приобнял. Люди охнули. Гепеушник, хрипя и кашляя, повалился на землю, скорчился у ног Гурьева.

– Знаешь, что такое скоротечная чахотка? – по-прежнему стеклянно скалясь, проговорил Гурьев. Его сейчас меньше всего заботили легенды, могущие возникнуть вслед за этим спектаклем. Совсем иное его сейчас занимало. Он ещё не всех убил, кого хотел и обязан был. – Весь ливер свой выхаркаешь за месяц, тварь. Сам себя казнишь, ни я, ни люди мои пальцем тебя не тронем. Пойдёшь за речку и всё расскажешь. И своим товарищам передашь, чтобы больше бандитов не присылали. А кто придёт, живым не выйдет. Ты – последний. – Он поднял взгляд на казаков: – Убрать!!!

Жемчугова утащили куда-то за спины станичников, и Гурьев посмотрел, наконец, на мычащего, в кровоподтёках и ссадинах, здорового мужика, с туловищем, похожим на бочку, одетого во всё красное – даже сапоги были красными, – вздохнул:

– Каков молодец. Что, победитель вдов и сирот? Не хочешь сам такую смерть попробовать?

– От тебя, что ль?! – прохрипел Толстопятов. – Дай шашку, посмотрим, кто первый попробует!

– Ша-а-а-шку?! – удивился Гурьев. – Ах, шашку тебе. Знаешь, что, красавец? Я не буду с тобой в благородство играть. Ты безоружных и беззащитных убивал, поэтому никакого благородства не заслуживаешь. Дерутся в поединке с равными. А бешеных собак убивают там, где застанут. Вот я тебя и застал, – никто не понял, как диковинная сабля, только что висевшая у Гурьева за спиной, вдруг очутилась в его руках. – На колени поставьте его.

Толстопятов забился в руках у казаков.

– Не хочешь на колени, – кивнул Гурьев. – А ведь встанешь. Отойдите все.

Он крутанул меч в воздухе. Раздался жуткий, утробный гул. Станичники отпрянули.

Крепка, как смерть, любовь, а месть – ещё крепче, подумал Гурьев. Крепка, чиста и сладостна, как поцелуй девственницы в сумерках украдкой. А не сложить ли мне вторую Песнь Песней? Сколько лет было Давиду, когда он сочинял свои псалмы? А Соломону? Месть – это здорово. Нет. Не месть, но возмездие, – здесь и сейчас. Это правильно. Потому что вы умеете воевать только одним способом – хватая заложников, расстреливая и пытая невиновных, подпирая звереющих от безысходности палачей заградотрядами из наёмников. Недаром марковцы и дроздовцы заставляли вас бежать без оглядки, несмотря на ваше двадцатикратное превос-

ходство в живой силе. Только так. С женщинами и детьми воюете вы уже больше десяти лет. С целым народом. Но теперь – хватит. Хватит убивать моих женщин. Сначала мама, потом Полюшка. Всё. Больше – никогда.

Никто даже не понял, как это случилось – им лишь показалось, что солнце сошло с небес и задрожало на самом кончике гурьевского клинка. Удара – ни первого, ни второго – никто не проследил. Просто увидели, как Толстопятов сначала как-то косо съехал, взыв, на обрубки ног до колена, а секунду спустя, дрогнув, вдруг медленно, словно на киноплёнке, картинно развалился надвое. Его останки упали наземь, взметнув облачка мелкой сероватой пыли.

Стояло такое сухое, тёплое, роскошное бабье лето, – хоть волком вой.

– Вот и перекрестил, – выдохнул кто-то из казаков и осенил себя крестным знаменем.

Казачишка-доносчик, до этого лежавший, казалось, без чувств, вдруг опамятовался и завыл пуще прежнего, неистово заколотил головой в землю:

– Батюшка... Прости... Прости! Батюшка, государь, прости, прости-и-и-и...

Что-то случилось с людьми. Или слова эти были восприняты, как команда, или ещё что-то? Станичники, истово крестясь, опускались один за другим на колени. Гурьев, не понимая, что происходит, смотрел на них, продолжая сжимать меч, с которого в пыль медленно стекала кровь. И только минутой, наверное, позже, осознал, что за слова доносятся до него отовсюду. «Батюшка... Прости, батюшка-царь... Прости, государь наш... Прости грешных... Государь... Батюшка...»

– Государь?! – Гурьев взялся рукой за горло. – Государь?! Вот как вы... Ах, вы...

Перед глазами его встали знакомые с детства строки. И, не в силах сдержать бешеной злой улыбки, Гурьев с расстановкой заговорил – переводил наизусть, так, как запомнил:

– И воззвал народ к Самуилу, и говорил: поставь царя над нами, чтобы судил нас, и вёл нас в бою! И отвечал пророк: Вот, что будет делать царь, который станет царствовать над вами. Он заберёт ваших сыновей и заставит служить себе. Царь заберёт себе ваших дочерей и заставит их готовить для него благовония и яства. Царь заберёт у вас лучшие поля и сады и отдаст их своим слугам. Он отнимет ваш скот, крупный и мелкий, и сами вы станете его рабами. Вы будете рыдать к Господу от царя, которого избрали, но Господь не ответит вам!

Гурьев вздохнул, стряхнул остатки крови с клинка ритуальным движением, бросившим Котельникова в холодный пот, задвинул меч в ножны. Голос Гурьева прозвучал теперь хмуро и буднично:

– Не заслужили вы царя. А даже если и заслужите, – даже если вы и в самом деле хотите, – где же найти того, кто согласится на такое тягло, на муку такую?! Эх, вы. Люди.

Он снова обвёл взглядом толпу и тихо проговорил:

– Расходитесь, люди добрые. Хватит.

Это была не просто команда. Через минуту майдан опустел. Гурьев снова достал меч – Котельников поёжился, потому что движения командира ему проследить, как и прежде, не удалось, – подошёл к останкам Толстопятова и методично принялся рубить их на куски поменьше. Казаки, глядя на эту мясницкую работу, крестились и шептали вполголоса молитвы. Такого им ещё видеть не приходилось.

Гурьев велел принести одеяло и завернуть то, во что превратился труп. Посмотрев в лицо Котельникова, снизошёл до объяснений:

– Положено так, Прохор Петрович. Гореть будет живей. Керосин раздобудьте, и побыстрее. Сжечь, а пепел в речку спустить.

– Так точно, Яков Кириллыч, – едва справившись со связками, произнёс Котельников. – Разрешите?

– Приступайте, есаул, – кивнул Гурьев.

Он шагнул к вестовому, полумёртвому от ужаса развернувшегося перед ним зрелища, который держал под уздцы Серко, одним движением вбросил себя в седло:

– Есаул. Как закончите с этим, командуйте, домой трогаемся.

Всю дорогу до Тынши Гурьев не произнёс больше ни слова. Котельников несколько раз подъезжал к нему, – хотел, вероятно, начать какой-то разговор. Но, видя лицо Гурьева, так и не решился.

Всё, что произошло вслед за боем в Покровке, настолько выбило Гурьева из колеи, что он был не в состоянии даже толком сосредоточиться. Он, как в тумане, присутствовал на похоронах Пелагеи, краем сознания отмечая, как смотрят на него люди, как перешёптываются и качают головами. Едва дождавшись, пока батюшка закончит молитву, подозвал Котельникова:

– Уведи всех, Прохор Петрович. Я хочу побыть один. Пожалуйста.

– Слушаюсь, Яков Кириллыч.

– Да оставь ты это, – почти простонал Гурьев. – Что же это такое?!

Он просидел на могиле до позднего вечера. Вытащил образок-амулет, тот самый, что не снимал с тех пор, как уезжал в Харбин, сдал в кулаке. Камень был странно тёплым, почти горячим, но об этом совершенно не думалось сейчас. А ведь это я тебя убил, голубка моя, подумал Гурьев. Какой я защитник?! Если бы не я, жить бы тебе, Полюшка, лет до ста. Знахарки все – долгожительницы. Прости, Полюшка моя. Прости. Видишь, и в землю тебя положили, как водится, Полюшка. Хоть и не верю я в это. Ребе говорил, что есть у человека косточка в черепе, которая никогда землёй не становится. Хоть век минует, хоть сто. По этой косточке и воскресит всех Предвечный после Судного Дня. Конечно, я в это не верю. А маму тоже велел в землю положить. Совсем как тебя, Полюшка. Прости, если сможешь. Прости, голубка моя.

Лишь когда стемнело, он вернулся в станицу. Тризну начали без него. Он вошёл тихонько, сел между мгновенно подвинувшимися Шлыковым и Котельниковым, взял услужливо протянутый кем-то стакан с самогонном и кусок хлеба. Чуть пригубил, но пить не стал.

– Ты выпей, Яков Кириллыч, выпей, – тихо проговорил Шлыков, беря его за плечо и встряхивая. – Выпей, Яков Кириллыч, друг ты мой любезный, голубчик дорогой, выпей, – оно и полегчает.

– Не хочу, – глядя в одну точку, сказал Гурьев. – Спасибо, Иван Ефремыч, я знаю. Я не хочу, чтобы мне полегчало. Сейчас – не хочу.

Шлыков посмотрел Гурьеву в глаза, вздохнул – и не возразил ничего.

Утром, вернувшись с кладбища, он велел вестовому собрать командиров и позвать Тешкова вместе со станичным атаманом. Сел на лавку у стола, не обращая внимания на привставшего на своём ложе и с тревогой и участием глядящего на него Шлыкова, снял фуражку, утвердил локти на столе и спрятал лицо в ладони.

– Ну? – хмуро проговорил Гурьев, отняв ладони от лица и обведя взглядом собравшихся. – И чья же это идея?

– Какая?

– Какая?! – взревел Гурьев, но голос его сорвался. – Какая?! Про царя. Какая же ещё?!

– Ничья, – проворчал, не глядя на него, Тешков. – Народная.

– Народная, – повторил Гурьев и оскалился. – Народная. И кто из вас с этой народной идеей согласен?

– Все, – буркнул кузнец и посмотрел на Шлыкова. – Так, Иван Ефремыч?

– Ох, да что же это такое, – Гурьев потряс головой. – Как вам это вообще в ум взбрело?!

– А знамя?! – вскинулся Котельников.

– Знамя?! – переспросил Гурьев. – Ах, знамя.

Со знаменем действительно конфуз вышел, подумал он в смятении. Но я же не мог предвидеть, что вы истолкуете это непременно именно так?! Не в знамени дело, понял Гурьев. Это свет. Всего лишь отражение того самого света на мне. Отблеск. А они увидели. И приняли меня... Господи Боже, ну, как же мне им об этом сказать?!

– Чтобы я больше этого никогда не слышал. Никогда, понятно? Знали бы вы, – Гурьев махнул рукой. – Пр-роклатье. Ну, так слушайте же. Слушайте, дорогие мои. Никто из них не спасся. Никто. Я сам с человеком говорил, который их тела прятал. Редкостная, доложу вам, мразь, просто диву даёшься, – как такое могло уродиться и почему до сих пор землю топчет. Неважно. Убили всех, а тела сожгли. Царевича и младшую царевну сожгли вообще дотла. И пепел в грязь втоптали. А если бы даже кто и спасся... Не по нему эта ноша была. Потому так легко он её и сбросил. И всё это чушь, про всеобщее предательство. Несчастный он был человек. И царствие его несчастливо сложилось. С чего началось оно, помните? Хотел явить твёрдость, а вышло – кровь и непотребство. Пожелал свободы для подданных – повернулось смутой, развратом, казнокрадством и падением нравов. Стремился к миру, был честен с теми, кого считал друзьями – вверг державу в войну, одну да другую, к которым она не была готова, и тем её погубил. Тянулся к вере, жизни по Евангелию – взошло мракобесие, суеверие, поповская дурь захлестнула страну. Желал от непомерной власти отстраниться – отозвалось чехардой министров, своеволием чиновников, недоверием и озлоблением народа. Любил жену пуще жизни – прослыл подкаблучником и тряпкой. Почитал наивысшей ценностью семью – собственных детей на голгофу возвёл. Мечтал о покое – даже праха его вовек не сыскать. Жил Государем – погиб мучеником. Только что это за доблесть такая, скажите мне?! Погибать надо так, чтобы о твоей гибели враги вспоминали, трясясь и заикаясь от ужаса. Чтобы их детей, внуков и правнуков при звуке твоего имени цыганский пот прошибал. Вот – смерть, достойная Государя. Не имел права отречься. Помазанники не отрекаются. Отречением своим семью собственную сгубил и всю Россию в революцию швырнул, как в омут. А мой отец – погиб, но не сдался. Вот это, – видели?! – Гурьев вытянул вперёд руку с браслетом. – Написано – «погибаю, но не сдаюсь». Так и сделал. И запомните – те из вас, кто игру эту затеял, или по недомыслию в неё вступил, совершили глупость. Ошибку. Это игра не моя, и я в неё не играю. И вам не советую. Что же касается монархии... Если суждено нам дожить до Земского Собора, тогда и выберут на нём Государя...

Гурьев вдруг оборвал свой монолог на полуслове и яростно потёр лоб ладонью. И понял со всей ясностью – что бы ни говорил он сейчас, будет только хуже. Только крепче уверятся люди в том, что он... Не разговаривают так – и так не воюют. Объяснять?! Невозможно. Но ведь этого не может быть!!! Ох, да что же это творится с нами такое?! А я, кажется, превращаюсь в мишень, подумал он. Да такую, что только держись. Надо с этим как-то заканчивать. И быстро, пока на меня не начали охотиться все, кому не лень. Но я не могу. Я не могу сейчас взять и всё бросить. Потому что это неправильно. Надо... А что же на самом-то деле надо?!

Мужчины молчали. Молчали долго. И вдруг Шлыков произнёс безо всякого намёка на шутку:

– Яков Кириллыч. А знаешь? Если доживём... На Соборе на этом... Я за тебя проголоую. Вот тебе истинный крест, – Шлыков поднялся в рост и подкрепил крестным знамением сказанное. – И к тому – моё офицерское слово.

Казачи согласно закивали, переглядываясь. А Гурьев ничего не ответил на это, только глаза прикрыл ладонью, будто от солнца.

Тынша. Сентябрь 1929

Через неделю после того, как всё Трёхречье загудело, будто улей, обсуждая операцию по уничтожению красных партизан Фёфёлова, а потом и Толстопятовского отряда, в Тыншу направилась «инспекция». Ехали они хоть и по своей земле, но сторожко. А всё равно шлыкковский секрет под командованием вахмистра Нагорнова перехватил их верстах в пяти от станции.

Шлыкковцы тихо и мгновенно окружили четверых всадников – только кони завертелись на месте.

– Кто такие, с чем пожаловали? – хмуро спросил вахмистр, придерживая карабин на сгибе локтя. Очень ему этот приём, Гурьевым продемонстрированный, понравился. Да и выстрелить из такого положения было легче лёгкого, – проверено.

– Ты что, Фрол Игнатьич?! Своих не узнаёшь? – подал голос один из казаков.

– Чего ж не узнать, – согласился Нагорнов. – Узнать-то я тя узнал, Иван Капитоныч. А свой ты или нет, это попозже выясним... С чем пожаловали, спрашиваю?

– Ротмистр Шерстовский, – отрекомендовался офицер в полевой форме и фуражке с кокардой вместо привычной папахи. – Имею поручение к полковнику Шлыкову.

– Ясно, – кивнул Нагорный. – Полковник наш ранен, выздоравливает потихоньку.

– Кто командует отрядом? – напористо спросил Шерстовский. – Котельников?

– Осади, ваше благородие, – усмехнулся Нагорнов. – Забирай выше.

Ротмистр с сопровождавшими переглянулись. Нагорнов это отметил, снова кивнул:

– Поезжайте, коли так. Тока смотри, не балуй, – они этого не любят.

– Кто – «они»?!

– Узнаете, – загадочно усмехнулся вахмистр. – Зыков! Проводи гостей к атаману.

– Есть! – совсем юный казак молодцевато вскинул руку к папахе, явно рисуясь перед приезжими.

И Шерстовский, и казаки, бывшие с ним, с нарастающим удивлением смотрели на шлыкковцев. Форма подогнана, погоны немятые, кони лоснятся, у самих – морды гладкие, выбритые, усы закручены залихватски, и замашки, как у индейцев Фенимора Купера. А взяли их как! Захоти пострелять – ахнуть бы не успели. А ведь и они не зелень необстрелянная. Что за чертовщина?!

Надеждам на то, что удастся дорогой разговорить сопровождающего, не суждено было сбыться. Зыков на вопросы отвечал либо «не могу знать», либо «не положено», вежливо и с достоинством, но твёрдо, хотя и было видно, что парня так и распирает от желания похвататься. Тынша при въезде поразила «инспекторов» ещё сильнее: никакой суеты и суматохи, хотя отряд в две сотни сабель – напряжение серьёзное.

– Сейчас на постой вас определим, гости дорогие, – вдруг сказал Зыков. – Утром к атаману, а теперь – самое время вечерять-то. Вон, вторая хата, справа, за Шнеерсоном сразу.

– За... кем?!? – едва не выпал из седла Шерстовский.

Казак указал нагайкой на вывеску, освещённую двумя керосиновыми фонарями:

– Так портной наш. Уж на всё Трёхречье молва идёт. Неужто не слышали?

– По... По... Портно-о-ой?!!

– А то как же, – Зыков приосанился в седле. – Мы – Русская Армия, нам форма положена, и офицерам, и казакам рядовым. А как же! Вот Яков Кириллыч и велели. Специалиста, – по слогам выговорил казак недавно выученное слово. – Сами за ним в Харбин ездили-от, – солидно добавил парень. И такое благоговение звенело в его голосе, что у Шерстовского неприятно засосало под ложечкой.

Всё ещё не веря собственным глазам, Шерстовский вылутился на вывеску. «З.Р. Шнерсонъ. Пошивъ военной формы, дамской и мужской одежды». Не может быть, простучала, будто подковами по брусчатке – от виска к виску – у ротмистра мысль. А Зыков, как ни в чём не бывало, продолжал:

– Так это что! У нас и сапожник теперь есть свой, получше вашего из Драгоценки будет. Да из Хайлара к нам теперь ездят! Ахмет Сагдеевич. Его обувка-от.

– Его... тоже – Яков Кириллович?!

– А то как же! – гордо и важно кивнул Зыков. – Кому ж ещё-то?

И в самом деле, криво усмехнулся Шерстовский. И в самом деле. Кому же ещё. Он повернулся и окинул взглядом свой небольшой конвой. Казаки, начисто забыв о существовании офицера, таранились по сторонам, словно ирокезы в Париже.

– А... вывеска зачем?

– Как же без вывески? – пожал плечами Зыков. – К нам народ разный заезжает, чтоб не шлялись без толку по станице. У нас тут военные объекты есть, для чужих глаз не предназначены.

Шерстовский опять дёрнулся. Да что же это делается-то, Господи?! Куда это я попал?! Откуда это всё?! Неужели?!

– Это что, – постепенно разохотился Зыков. – У нас и школа-от есть, и церковь выстроили, сейчас вот в Харбине решают, когда батюшка приедет.

– А почему жида-то?! Что, русского портного не нашлось?!

– Видать, и не нашлось. Россия наша велика, ни конца, ни краю у ней нету, – наставительно произнёс Зыков, и этот тон у молодого, много моложе его самого, парня, – нет, не обидел, не оскорбил Шерстовского, но сотряс до самых глубин души. – И людей в ней всяких полным-полно. Завсегда вместе жили, не цапались. А как почали рядиться, кто кого лучшей, так и сами поглядите, вашбродь, куды закатились, – ажник под самое море японское. Много ли толку? А Рувимыч человек правильный, дело знает, да и трезвый завсегда. Не шинкарь какой – ремесло у его в руках знатное. А детей мне с ним не крестить. Видали, вашбродь, какую форму-от нам спроворил? Небось пальцы-от исколол все. Бабам, опять же, подобается. Обходительный. Журналы у его модные, с самого Парижу. Обновки у нас теперь справить – не хитрость.

– Вот как, – буркнул Шерстовский, всё ещё косясь на вывеску. – И атаман станичный не возражает?

– А чего, – повторил Зыков. – Атаман свой шесток знает-от. Егойное дело – за порядком следить. А Яков Кириллыч – у их ум светлый, оне глядят, как чего сделать, чтоб народу со всех сторон способнее было. Вот, к примеру-от, – Зыков указал нагайкой куда-то в сторону. – Кабы золото это окаянное кто другой нашёл – что было б?! Вот. А Яков Кириллыч – оне его к делу-от враз приспособили. Таперича и детишкам в школе грамоту докладывают, и электричество имеется, и доктор у нас живёт, что заместо Пелагеюшки, царствие ей, голубке, небесное, бабам, значит. С самого, говорят, Питер-граду, профессор, Илья Иваныч-от. Топоркова велели перевезти тож. Таперича нам хайларский шорник-от без надобности.

– Топоркова? – удивился один из спутников Шерстовского. – А он-то?! Пьяница горький Топорков. Я его давно знаю. А после того, как краснюки-то... Совсем спился, поди!

– Да он и смотреть на самогонку таперича не смотрит, – засмеялся Зыков. – Как Яков Кириллыч повелели его к нам сюдой, так и всё. Оне Топоркова иголкой кольнули, в глаза глянули и говорят: не пей. Зелье, говорят, тебе енто не на пользу.

– И?!?

– А как отрезало! И как, грит, я её пил-от – а таперича и смотреть на её не могу, окаянную!

– Колдун, что ли?!

– Да не, какое колдовство, – Зыков чуть привстал в стременах, высматривая что-то, ему одному известное. – Колдовство – енто супротив. А Яков Кириллыч не ворожат – оне человека так встрясывают, что всякая шелуха враз-от и слазит. Ну, вот. Прибыли, слава Богу.

Слушая всё это, Шерстовский чувствовал, как у него шевелятся волосы на затылке.

– Прямо Святой Лазарь какой-то, этот ваш Яков Кириллович!

– Ну, про святого, вашбродь, не заикались бы, коли б видели, как оне краснюков-от шашкой ихней пластали, – Зыков вздохнул и перекрестился. – И шашка-от у них не простая, старые казаки сказывают, ни камень, ни железо ей нипочём, а уж человек-от – и вовсе. Ну, отдохайте, до завтра, мне в дозор-от ещё возвращаться.

Курень, служивший им постоялым двором, был чисто выметен, в горнице – занавески на окнах и скатерть на столе. Поев, улеглись. Шерстовскому, впрочем, несмотря на усталость, не спалось. За ночь ротмистр едва дырку в лавке не провертел. Несколько раз выходил на крыльцо, дымил папирсой. Едва рассвело, снова появился Зыков:

– Ну, гости-от дорогие, ждёт атаман. Пошли, что ли?

У штаба, которым сделалась теперь изба Пелагеи, стоял караул, а над крыльцом висел флаг. Штандарт Императора. Только вместо чёрного двуглавого орла были вышитые буквы: дугой поверху – «О.К.О.», дугой понизу – «М.К.В.». Ой, мама дорогая, совершенно с одесским акцентом подумал Шерстовский. Караул тоже был поразительный – не прохаживался и не лузгал семечки, а стоял. Как полагается. И вестовой только тогда поднялся в курень, когда бумаги приезжих караул счёл заслуживающими доверия. Ну и ну, подумал Шерстовский. Всё это было так не похоже на основательно подоичавших за последние годы казаков, вынужденных огрызаться то на набегии красных, то на хунхузов, то ещё непонятно на что.

Гурьев только что закончил процедуры со Шлыковым, когда на пороге горницы возник вестовой:

– К вам посетители, Яков Кириллыч. Что вчера ввечеру прибыли, – по уговору с вахмистрами и урядниками, казакам было велено вне строя обращаться к Гурьеву по имени-отчеству.

Выслушав подробный доклад, Гурьев кивнул и поднялся:

– Иду.

Он надел китель со свежим подворотничком, натянул все ремни и портупей и вышел на крыльцо. Оглядев гостей, – троих казаков и офицера явно гвардейского вида, – улыбнулся дежурно:

– Доброе утро, господа. Как отдохнули?

– Лейб-гвардии ротмистр Шерстовский, – поднёс руку к козырьку фуражки офицер, пристально оцупывая Гурьева взглядом. – Отдохнули прекрасно. Благодарю за гостеприимство.

Мундир на Гурьеве сидел так, что ротмистр едва удержался от завистливого вздоха. Сам он отвык и от такого сукна, и от такой подгонки по фигуре. Что же это такое, с суеверным ужасом опять подумал ротмистр. А погоны ему кто позволил?!

– Чем могу служить? – голос Гурьева вернул Шерстовского на землю.

– Прибыл лично убедиться в том, что вы, господин Гурьев, не тот, за кого себя выдаёте.

При этих словах караул напрягся. Гурьев посмотрел на своих казаков, продолжая улыбаться, каким-то неуловимым жестом успокоил их и снова упёр взгляд в «инспекторов»:

– Ну, убедились? – после этих слов улыбка исчезла с его лица так мгновенно, что Шерстовский невольно передёрнул плечами. – Отлично. Честь имею, господа.

Он развернулся и направился назад.

– Погодите! – окликнул его Шерстовский. – Но...

– Хотите поговорить – проходите в дом, – снова повернулся Гурьев. – Не вижу, однако, никаких поводов для разговоров. Я не являюсь ни автором, ни вдохновителем диких рассказов, послуживших причиной вашего визита. Посему полагаю излишним и унижительным

оправдываться. Вас, вероятно, прислали потому, что вы несли службу при Дворе и могли видеть Наследника.

– Так точно. В Гатчинском полку.

– Ну, разумеется. При всём моём искреннем сочувствии к судьбам бывшего, – он намеренно сделал ударение на этом слове, – Государя и его несчастной Семьи, заявляю вам абсолютно ответственно, что не только не принадлежу к упомянутой Семье, но даже в самом отдалённом родстве не состою с бывшей, – опять подчеркнул он, – Императорской Фамилией. Во всяком случае, не более, чем любой из дворян государства Российского. И это на самом деле всё. Прошу извинить, дел по горло, – Гурьев провёл по кадыку ребром ладони и скрылся в избе.

Шерстовский несколько растерянно посмотрел на сопровождавших его казаков. Один из них нетерпеливо дёрнул подбородком:

– Ну?! Не он?

– Разумеется, нет, – раздражённо пожал плечами Шерстовский. – По возрасту – вероятно, но... Нет, нет. Конечно, нет. Однако!

– Что?!

– А сами не видите?! – гаркнул Шерстовский. – Ждите!

Он шагнул на крыльцо, стукнул в дверь, вошёл, остановился на пороге. Гурьев посмотрел на офицера, вздохнул и кивнул:

– Ну, проходите, раз уж приехали. Присаживайтесь. Угощать мне вас нечем, – была хозяйка, да вся вышла.

– Примите мои...

– Перестаньте, – махнул Гурьев рукой.

– Нет, нет, – запротестовал Шерстовский, шагнув вперёд. – Я действительно сожалею. Поверьте. Нам всем сейчас... нелегко. А где полковник Шлыков?

– Полковник Шлыков пока не в состоянии воевать. Приходится делать это за него. Уж как прорезалось.

– Но вы не можете вести самостоятельные боевые действия, без координации. Обстановка...

– Я знаю обстановку не хуже вашего, – перебил ротмистра Гурьев. – Отряд не ведёт активных операций. Мы, по мере сил, предотвращаем проникновение красных бандитов в район.

– Послушайте, господин... Гурьев. Невозможно сколько-нибудь эффективно обороняться...

– Я и без подсказки понимаю, любезнейший Виктор Никитич, что наилучшая оборона – это поход на Москву. С какими силами, позвольте спросить? Или вы думаете, что японский Генштаб после двух с половиной петушиных наскоков на советское пограничье десятиллионную армию в ваше полное распоряжение предоставит? А воевать с Совдепией за то, чтобы русская дорога стала китайской, – поищите дураков в другом месте.

– Вот как вы это видите, – усмехнулся Шерстовский. – Интересно.

– А вы видите это иначе? – прищурился Гурьев.

– То, что я вижу – моя частная точка зрения, – повысил голос Шерстовский. – Есть атаман генерал-лейтенант Семёнов, который...

– Вы людей моих видели? – тихо спросил Гурьев.

Шерстовский смешался:

– Видел. Что вы хотите этим сказать?

– Вам известно, сколько я положил сил, чтобы они такими стали? Воинами, а не разбойничьей ватагой. Вы думаете, я их пошлю после этого умирать за нанкинские¹² и токийские амбиции? Чёрта с два, господин ротмистр. Зарубите себе это на носу.

¹² Нанкин – город в Китае, столица одного из «лоскутных» государств, на которые распался к середине 20-х гг. XX века

– Да как вы смеете!!!

– Так и смею, – Гурьев расправил плечи. – Армия без идеи – дерьмо свинячье. Командир, швыряющий в первую же мясорубку лучших воинов, как поступил бывший император и как постоянно действует атаман Семёнов – безумец. Людей не отдам. Всё.

– Ну, ты полегче, Яков Кириллыч, – осунувшийся, но вполне сносно уже выглядящий Шлык появился из-за занавески, перегораживающей комнату, застёгивая на ходу верхнюю пуговицу полевого кителя. – Здорово, Виктор Никитич.

Ротмистр поднялся:

– Господин полковник, – голос офицера звенел от обиды. – Потрудитесь объяснить, что здесь происходит? Кто этот... господин, которому подчиняются ваши люди?!

– А ты думаешь, я знаю?! – улыбнулся Шлык и посмотрел на Гурьева. – Что Яков Кириллыч мне посчитал нужным рассказать, могу доложить. А что не посчитал – то нам с тобой, ротмистр, знать вроде как и не по чину.

– Иван Ефремович, – поморщился Гурьев. – Я тебя просил, кажется.

– Просил, не просил, – Шлык вздохнул. – Ты присядь, Виктор Никитич. Раз приехал – разговор некороткий нам предстоит. Станицу-то нашу видал?

– Видал.

– Ну, это хорошо.

Он кивнул вестовому:

– Малышкин, распорядись. Чего на пороге маячить.

– Слушаюсь! – казак козырнул и выскочил на двор.

Шлык, морщась, присел на лавку, снова взглянул на Шерстовского:

– Ты мне скажи, Виктор Никитич. Ты ругаться приехал или по делу?

– Ругаться за сто вёрст – вот ещё дело, – вздохнул Шерстовский и посмотрел на Гурьева. – Прошу извинить за резкость. Всё как-то неожиданно, знаете. Я, собственно, имею от Григория Михайловича поручение справиться о ваших планах и установить, как это возможно, контакт и... – Ротмистр замялся.

– Неплохое начало, – улыбнулся Гурьев. – Извинения приняты. Позиция моя вам известна. Что дальше?

– Я хотел бы прояснить вопрос о том, кто вы, собственно говоря, такой. Надеюсь, вы понимаете, что расходящиеся, словно круги по воде, слухи о вас как о Наследнике...

– По этому поводу я тоже высказался.

– У меня хорошая память, – вспыхнул Шерстовский. – Я хотел бы знать, кроме всего прочего, что означают слова генерала Сумихары о том, что вы находитесь под его личным покровительством.

– Когда он сказал такое? – удивился Гурьев.

– Во время последней встречи с атаманом Семёновым и господином Родзаевским. Какое отношение вы имеете к японцам?

– К японцам – никакого, – пожал плечами Гурьев. – Просто у нас с его превосходительством взаимопонимание установилось с первой минуты общения. Истинный воин и благороднейший человек, доложу я вам. Вероятно, он предвидел горячность атамана Семёнова, потому и поспешил предупредить его возможные опрометчивые шаги.

– Ай да Сумихара, – улыбнулся Шлык.

– Я не понимаю, – жалобно произнёс Шерстовский.

– Да чего тут понимать-то!

– Подожди, Иван Ефремыч. Я объясню, – Гурьев чуть наклонил голову набок. – Генерал Сумихара наверняка гораздо лучше меня представляет себе всё многообразие политических

раскладов в среде эмиграции. Он, безусловно, предполагал, что некоторые мои навыки и умения, о которых он в силу определённых обстоятельств отлично осведомлён, в случае моего участия в военных действиях позволят мне быстро приобрести авторитет, отнюдь не для всех желанный. Да вот Вы не бойтесь, Виктор Никитич. Как только война закончится, я исчезну.

– А я – останусь, – закончил Шлыков.

– То есть?

– А вот то есть, – набычился полковник. – Соберёшься с силёнками – вернёшься, Яков Кириллыч. А мы тебя подождём. Подготовимся.

– Погодите, господа, – Шерстовский переводил растерянный взгляд со Шлыкова на Гурьева и обратно. – У меня такое чувство, что я очутился как раз посередине какого-то вашего давнего разговора и решительно не понимаю, какое это имеет отношение...

– Самое прямое, – отрезал Шлыков. – Самое прямое. Мне Сумихара тоже сказал – слушайте его, вам же лучше будет. Ты посмотри на меня, Виктор Никитич. Я ведь сюда умирать пришёл. А они с Пелагеей...

Шлыков отвернулся и шарахнул кулаком по столу:

– А они меня из могилы вытащили. Яков Кириллыч и Пелагеюшка, царствие ей небесное, голубушке нашей. И две сотни красноковок он вот, – Шлыков ткнул в Гурьева пальцем, – положил, ни одного убитого, все мои люди, – его люди, – живы-здоровы. Им теперь море по колено и сам чёрт не брат. Они теперь с ним краснопузую дивизию в шмапки расхерачат, дай только срок! Ты так умеешь, Виктор Никитич?! И я не умею. Никакой наш Яков Кириллыч не наследник, на это даже моих куриных мозгов хватает. А только я себе лучшего командира... А может, чем чёрт не шутит, и Государя – не пожелаю. А ты, Виктор Никитич, сам решай.

Шлыков умолк, посмотрел в окно. Молчал и Гурьев, – молчал спокойно, но вот щурился совсем неласково. Шерстовский потряс головой:

– Ну и ну. Чёрт возьми, да это просто уму непостижимо!

– Доложите Григорию Михайловичу правду, – тихо проговорил Гурьев. – А генерала Сумихару я сам поблагодарю. Связи вот нет, и это самое ужасное во всей истории. Воевать мы будем, никуда не денемся, но – сами. А вы – лучше не мешайте.

– И скажи спасибо, что он вам не мешает, – с усмешкой добавил Шлыков. – А ведь захоти он...

– Иван Ефремович, – Гурьев провёл рукой по лбу и вздохнул.

– Вот как? – напрягся опять Шерстовский. – Мы для тебя теперь – «вы»? Быстро же ты перестроился, Иван Ефремович.

– Я не перестроился, – Шлыков собрал на переносице густые брови. – Я в строй встал. Наконец-то. Как полагается.

Шерстовский хотел что-то возразить, но не успел. В горнице, потирая друг о друга ладони, возник... Вот это и есть петроградский профессор, ошалело подумал Шерстовский. Загряжский?!? Здесь?!? Сейчас?!? Не может быть!

– Доброе утро, господа! Нуте-с, нуте-с, – профессор широким шагом подошёл к Шлыкову, бесцеремонно, по-докторски, уложил его на лавку, закатал рубаху, осматривая почти зажившую рану. – Делаете успехи, молодой человек. Яков Кириллыч, коллега, вы как, пользовались уже нашего больного?

Гурьев, улыбаясь, кивнул.

– Лимонник! Лимонник, доложу я вам, – воодушевлённо произнёс Загряжский. – Народным средствам нужно самое пристальное внимание уделять! Это же просто не знаю, как чудесно, что вы меня, Яков Кириллыч, сюда вытащили!

– Илья Иванович, – Шерстовский, не узнав собственного голоса, прокашлялся. – Простите, Илья Иванович... Это... Вы?!

Профессор, кажется, только теперь заметивший ротмистра, выпрямился и взгляделся, поправляя очки, в его лицо. И всплеснул руками:

– Боже мой! Витенька! Какими судьбами?! Голубчик! – и шагнул ему навстречу, протягивая обе руки.

Когда первые восторги узнавания поутихли, Загряжский проговорил, улыбаясь:

– Возмужали вы, Витенька, вас и не узнать сразу! Не знал, не знал, что вы в Манчжурии, иначе давно разыскал бы! А я тут теперь, извольте ли видеть, проживаю, совершенным магнатом Потоцким, почти, можно сказать, по-старорежимному! Ну, что это я разболтался, – оборвал он себя. – Не буду, не буду мешать. А вас, Витенька, как милостивый государь наш Яков Кириллыч с военного совета отпустит, пожалуйста, жду. Наливочка здесь на лимоннике настоящая, просто нектар божественный! Лимонник! Женьшень – это полная, доложу я вам, Витенька, ерундистика! Но вот лимонник, лимонник – это да! Всё, всё. Ретирада, ретирада!

Профессор исчез так же непостижимо, как явился. Шерстовский встряхнулся, как выбравшийся из воды пёс, одёрнул зачем-то френч и уставился на Шлыкова в совершенной прострации. А Шлыков, язва такая, ослабился да ещё и подмигнул:

– Что, ротмистр? Расклад улавливаешь?

Ответить на это Шерстовскому вновь не удалось. На пороге возник вестовой с несколько растерянным видом.

– Что такое, Малышкин? – недовольно, хотя и ровно произнёс Гурьев. – Я же просил – не беспокоить.

– Так японцы там, Яков Кириллыч!

– Какие?! О-о... Пусть заходит, – Гурьев поднялся.

Вестовой вышел и секунду спустя вернулся с высоким японским офицером. Тот поклонился и сказал на чистейшем русском языке:

– Доброго утра, Гуро-сан. Генерального штаба майор Такэда. Прибыл в ваше распоряжение по приказу его высокопревосходительства генерала Сумихары. Со мной – взвод маньчжурской армии и боеприпасы для вашей части.

– Благодарю, – поклонился в ответ Гурьев, стараясь не выдать охватившего его волнения. – Присаживайтесь, Такэда-сан.

– Сабуро, – улыбнулся японец, снова кланяясь. – Моё имя Сабуро, Гуро-сан.

– Прошу, Сабуро-сан, – Гурьев протянул руку к столу и кивнул вестовому: – Малышкин, собери на стол.

– Есть!!!

Шерстовский, закрывая рот, громко клацнул зубами.

После того, как со стола исчезли остатки трапезы, Такэда достал из планшета карту:

– Прошу внимания, господа. По сведениям разведки, усиленный батальон Красной Армии пересёк границу вот здесь, – офицер указал точку на карте. – Если мы правильно понимаем их замысел, они собираются запереть ваш отряд, Гуро-сан.

– Я понял, – кивнул Гурьев, склоняясь над картой. – Ну, что ж. Значит, не успокоились.

– Виктор Никитич, останешься? – спросил Шлыков. – Каждый человек на вес золота, особенно с твоим опытом?

– Останусь, – не задумываясь, ответил Шерстовский, и только после этого посмотрел на Гурьева и на полковника. – Донесение напишу атаману, найдите, кого послать с письмом.

– Не нужно никого посылать, – заулыбался Такэда. – Я имею установку радиотелеграфа с собой. Можете телеграфировать его превосходительству отсюда прямо.

– Связь, – просиял Гурьев. – Превосходно. Я даже надеяться не мог!

Такэда поклонился:

всем за речкой, – мы уничтожаем бандитов, в том числе идейных, а с трудовым крестьянством и мастеровым людом мы не воюем. Вы видели сами, как мы живём здесь, на нашей земле. На Русской земле! Мы вас не звали, – вы сами пришли. Чтобы карать и убивать. За что и получили по заслугам. Сейчас каждый из вас подойдёт вот сюда, – Гурьев указал нагайкой на длинный, накрытый зелёной скатертью стол посередине улицы, – и поставит подпись под обязательством не поднимать оружия против мирных казаков и крестьян Маньчжурии и Трёхречья. Кто не подпишет – расстреляем, как злого бандита и преступника. Как мы поступили с теми бандитами и извергами, которые называли себя «красными партизанами», а на самом деле жгли наши дома, убивали наших жён, стариков и детей, сжигали их заживо, насиловали и грабили. Есаул, командуйте.

Наслушавшись за время своего пребывания в Тынше рассказов о Гурьеве, Шерстовский, в принципе, чего-нибудь в таком духе и ожидал. Оказывается, всю ночь мобилизованные Гурьевым дети и учительница Неклетова во главе с ним самим переписывали данные из красноармейских книжек и составляли «проскрипционные списки». Понятно, что пленных надо или отпускать, или... Но вот так, – превратив вынужденное мероприятие в идеологический демарш, одержав ещё одну, на этот раз моральную, победу?! Кто же он такой, подумал Шерстовский. Пожалуй, полковник Шлык поставил на правильный цвет.

Когда последняя телега с ранеными красноармейцами и пешая колонна исчезли в дорожной пыли, Гурьев посмотрел на небо:

– Ну, господа офицеры, счастлив наш Бог. Эту кампанию мы выстояли.

– Что?!? – вытаращился на него Шерстовский. – Яков Кириллыч, голубчик, да вы...

– Через два дня начнутся проливные дожди и распутица, – Гурьев улыбнулся. – По такой погоде никто воевать не станет. А к зиме мир подпишут.

– Откуда вы знаете?!

– Связь, дражайший Виктор Никитич. Связь и разведка. Так что этот бой был последним. Не получился у большевичков победный церемониальный марш. Благодарю за посильное участие, – Гурьев, как показалось Шерстовскому, с едва уловимой насмешкой вскинул правую руку к фуражке.

Ротмистр машинально отдал честь в ответ и развернулся к Такэде:

– Господин майор?!

– Гуро-сан говорит чистую правду, – Такэда, улыбаясь фарфоровой японской улыбкой, поклонился в седле. – Переговоры о мире действительно не за горами. Русское население может перевести дух. Не думаю, что возможны дальнейшие эксцессы. У нас нет никаких сведений об этом.

Шлык, подмигнув всё ещё недоумевающему Шерстовскому, довольно хохотнул и, тронув поводья, медленно направил коня в сторону штаба. За ним двинулись Гурьев, Такэда, китайский лейтенант и сотники. Шерстовскому ничего не оставалось, как последовать за ними.

Едва они успели войти в избу, как появился разъезд охранения с добычей – комиссаром.

– Вот, вашескобродь! Комиссара ихнего поймали. Думал, схоронился, тварь, – казак в сердцах двинул пленника по затылку.

– Отставить, – едва раздвинул губы Гурьев. Шерстовский от этого тихого шелеста подскочил на лавке, а казаки вытянулись по стойке «смирно». – Не ранен?

– Никак нет!

– Развяжите.

– Разрешите, вашеско...

Гурьев так посмотрел, что конвоировавших казаков качнуло. И комиссара тоже. Такого взгляда послушаться не посмели.

– Жид, – уверенно произнёс Шлык и оскалился. Такэда улыбнулся.

– Иван Ефремович, – укоризненно вздохнул Гурьев. – Мы с тобой, кажется, договаривались.

– Ну, извини, извини, – неохотно проворчал Шлыков.

Шерстовский понял, что медленно, но верно сходит с ума. Казаки привели комиссара. Явно, определённо жид. Абсолютно никаких сомнений. Не шлёпнули по дороге. Шлыков за «жида» извиняется. В станице, как ни в чём не бывало, процветает, как его там, Шнеерсон, храбрый портняжка. Да это же конец света, не иначе, в ужасе подумал ротмистр.

– Фамилия, имя, отчество, – промурлыкал Гурьев.

– Ничего не скажу, сволочь белогвардейская, – прошипел комиссар.

– Ну, не надо, – пожал плечами Гурьев и улыбнулся. – Документы при нём были какие-нибудь?

Один из казаков шагнул вперёд и протянул Гурьеву командирскую сумку. Гурьев открыл её и, перевернув, вытряхнул на стол всё содержимое. В числе прочих бумаг и карт были там красноармейская книжка и партийный билет. Гурьев пролистал документы, весело посмотрел на комиссара:

– Ай-яй-яй, товарищ Черток. На прогулочку направлялись, никак. Прочитать белогвардейскую сволочь. А ведь не на своей территории. Здесь ведь подобные улики могут очень, очень плохую службу сослужить. Не по-военному как-то воюете, товарищ Черток. А?

– Можете меня расстрелять!

– Ну, началось, – поморщился Гурьев. – Семён Моисеевич. Здесь некому оценить ваш геройский пыл. Если бы я хотел вас, как вы выражаетесь, расстрелять, я бы это уже сделал. Прошу только учесть один маленький нюанс. Расстреливают по приговору суда, пускай хоть и военно-полевого. А у нас комиссаров и коммунистов просто ставят к стенке и шлёпают. Совершенно, кстати, справедливо, по-моему. Но, впрочем, для вас я придумал кое-что поинтереснее. Что, страшно?

Черток смотрел на Гурьева бешеными глазами на белом лице. Лоб его был мокрым, волосы прилипли к коже.

– Вы... не смеете... С пленными...

– О, – Гурьев вытянул губы трубочкой. – Прочтите мне лекцию о духе и букве Женевских конвенций. Золотко моё. Пленных мы отпустили, переписав имена и фамилии, взяв с них расписки, что воевать с русскими людьми они больше не будут. Нам лишние рты ни к чему. Если ещё раз придут сюда, будут считаться не пленными, а бандитами, и поступят с ними надлежащим образом. А вы не сдавались, вас поймали, как козла в огороде. Так что извините, товарищ Черток.

– От... От... Отпусти-и-или?!.

– Мы – Русская Армия, а не палачи, – резко, словно пощёчину закатил, бросил Гурьев. – Мы с безоружными не воюем. В отличие от вас, кстати.

Черток переваривал обрушившуюся на него новость минуты, наверное, две. Офицеры уже отошли от горячки боя, а Гурьев – так тот, кажется, и не волновался вообще никогда. Теперь все с торжеством наблюдали за совершенно сбитым с толку комиссаром, который, судя по всему, готовился не к вежливой беседе с приятным молодым человеком, а к матерщине, пыткам и неминуемой смерти. А вышло – иначе.

Черток, наконец, опомнился:

– Всё равно я ничего не скажу!

– Да пожалуйста, – Гурьев вздохнул. – А с чего вы взяли, что мне интересно получить от вас сведения? Пленные всё доложили в таких подробностях, что просто сердце радуется. А вы что можете рассказать? Содержание последней передовицы в газете «Правда»? Так я не читаю советских газет, от них, как известно, цвет лица портится необратимо. И пытать вас не станут, не бойтесь. Не дадим вам такого козыря в руки. Много чести.

– А как вы с отрядами товарищей Фёфёлова и Толстопятова?!. Думаете, я не знаю?!

– Так это ведь замечательно, что знаете. Только это были вовсе не отряды товарищей, как вы изволите выражаться, а банды убийц, извергов, насильников и мародёров. Ни формы, ни знаков различия. Вооружённые преступники. Вот, посмотрите на нас – всё честь по чести, как полагается. Офицеры, рядовые, отдавание воинской чести, знамя с наименованием воинской части. И дисциплина, конечно, – он посмотрел на казаков, которые при этом опять вытянулись. – И вы потерпели от нас поражение в бою. Да и с вами лично обращались, насколько я могу судить, вполне корректно. Хотя вы, строго говоря, не разбери-пойми, что за птица. Комиссар – это кто? Солдат? Офицер? По-моему, это тюремный надзиратель. Так что никаких оснований для претензий не наблюдаю.

– Я...

– Не понимаете. Это же чудесно, – Гурьев пожал плечами и улыбнулся. – Удивил – победил, как говаривал граф Суворов-Рымникский. – Он кивнул казакам: – Накормить от пуза и запереть до утра. И смотрите в оба, чтоб не утёк, он мне нужен. Охранять, как любимую невесту.

– Есть!!! Пшёль, с-с-сука!

Комиссара увели, а к Шерстовскому, наконец, вернулся дар речи:

– А... А он вам зачем?!

– А вот скажите, Виктор Никитич, – улыбнулся Гурьев, – что будет, если мы его повесим?

– Одним жидом меньше!!! – рявкнул Шлыков. – Ой... Извини, Яков Кириллыч. Сорвалось.

– Так что? – продолжая улыбаться и словно не замечая выходки полковника, снова спросил Гурьев.

– Иван Ефремович совершенно правильно заметил, что, – проворчал Шерстовский.

– А какой в этом для нас резон?

– То есть?!

– То есть ориентирую вас, Виктор Никитич. Скажите, вам часто попадали в плен батальонные комиссары Красной Армии?

– Нет.

– И мне ещё никогда так не везло. Поэтому шанс нужно использовать на всю катушку. Ответьте, как пострадала Советская власть от расстрелов комиссаров и прочих жидов, Виктор Никитич? Только честно.

– Никак, – помрачнел Шерстовский.

– Правильно, – вкрадчиво подтвердил Гурьев. – И не пострадает. Скорее, наоборот. И сидя здесь, в Маньчжурии, время от времени постреливая и подвешивая заблудившихся жидов с комиссарами, вы никак не можете приблизиться к какому-нибудь результату. Ни вы, ни глубоко уважаемый мною атаман Семёнов. А уж тем более это не получится ни у китайцев, ни у японцев, – он быстро развернулся и церемонно поклонился Такэде, – извините, Сабуро-сан, вы ведь понимаете, о чём я, – Гурьев снова перевёл взгляд на Шерстовского. – А меня интересует результат. Куда меньше, чем процесс. Поэтому мне нужны союзники. Повешенный комиссар – плохой союзник, Виктор Никитич. А вот живой комиссар, которого не били, не пытали, а распропагандировали и отпустили на все четыре стороны – это, доложу я вам, бомба почище отпущенных пленных и перевязанных раненых. Комиссар, который вдруг увидел, что враг может быть симпатичным во всех смыслах, великодушным и щедрым, перестаёт быть вполне комиссаром. Он становится человеком, который понимает, что его собственная система взглядов – отнюдь не единственно возможная и к тому же не абсолютно неопровержимая. И начинает думать. А думать – это и есть самое важное. Конечно, в обычных условиях он вряд ли задумался бы. Но в том-то и дело, что предложенные обстоятельства обычными не являются. Тут

уж хочешь, не хочешь, – задумаешься. Вот этой всей совокупностью моментов я и собираюсь воспользоваться. И не позволю мне помешать.

– После всего?!

– Когда-то начинать необходимо, – пожал плечами Гурьев. – Я не стану сейчас распространяться о личных обстоятельствах, – просто поверьте, что поводов и оснований для мести у меня не меньше, чем у вас или полковника Шлыкова. Только мы так никуда не уедем. А двигаться просто необходимо. Выхода нет.

– Куда? Двигаться – куда?!

– Вперёд. У меня большие планы, Виктор Никитич, – тихо, но внятно проговорил Гурьев. – Для их осуществления мне требуются люди. Всякие люди, желательно – с принципами и лично мне обязанные. По возможности – обязанные всем, в том числе и жизнью. У меня такое чувство, что нам попался человек именно с принципами. Ещё раз повторяю – нам требуются союзники. Они не лежат готовые на складе, словно обмундирование. Нет у меня глиняной армии, как у первого императора династии Цинь, которая только и ждёт звуков боевых барабанов, чтобы ожить и броситься в сражение. Армию требуется изготовить. Изготавливать её можно только из подручного материала. Только из того, что имеется в наличии. В наличии же, как вы имели возможность неоднократно убедиться, былинных витязей, всех из себя в сверкающих ангельских доспехах, почему-то не наблюдается. Всё больше народец, на войне так или иначе пообтёршийся, и выпить не дурак, и реквизицию без особых душевных терзаний произвести, и на бабу чужую взгромоздиться, если случай подвернётся. Если у вас имеются какие-нибудь запасы означенных витязей, соблаговолите поделиться. Или новые, уникальные идеи на этот счёт. Я готов со всем возможным вниманием их выслушать. Молчите? Ничего удивительного, – Гурьев повернулся, посмотрел на Шлыкова. – Именно потому я буду действовать так, как я сам считаю нужным и правильным. Уж извините.

– Удивил – победил.

– Совершенно точно именно так, – кивнул Гурьев. – Но такую ювелирную работу я, как вы понимаете, ни вам, ни полковнику, как бы ни был он любезен моему сердцу, доверить не могу. Посему отправляюсь немедленно спать, чего и всем остальным, кстати, желаю, – Гурьев поднялся и сладко, с хрустом, потянулся. – Да вы ведь и не станете мне мешать, господа?

Сказано это было таким тоном, что Шерстовский мгновенно уяснил – совещание закончено, решение принято, и командира мнение подчинённых более не интересует. Командира?! Командира, командира. Тут уж – хочешь, не хочешь... Ротмистр знал, что такие вещи не на земле и не в штабах решаются. Если положено человеку судьбой – командовать, значит, так тому и быть. Он кивнул, поднялся, и щёлкнул каблуками, отработанным жестом прижимая пашку к бедру:

– Разрешите откланяться, Яков Кириллович.

– Разумеется. Спасибо и спокойной ночи, господа.

А что, подумал, выходя по нужде, Шерстовский. Во всяком случае, на это забавно будет поглядеть. А повесить – дурная работа нехитрая. Но каков же... шельмец, а?! До такого додуматься! Конечно, не Цесаревич он, это, как Божий день, ясно. А – кто?!

* * *

Поставив перед безгранично обалдевшим Чертоком чугунок с дымящейся, политой топлёным маслом, посыпанной свежей зеленью и крупной солью картошкой и заперев амбар, один из конвойных казаков вздохнул и перекрестился:

– Во. Видал?! А ишшо говорят. Как разговариват! И смотрит-то! Как же, не царевич. Так мы и поверили. Царевич. Как есть, доподлинный царевич. Во!

– А зачем же говорят-то, что не царевич?! – жалобно сказал другой. – Это ведь народу какое облегчение-то было б...

– Курья башка, – ласково проговорил старший. – Конь... Конь-спирация. Нельзя покуда. Силёнок маловато.

– Так ведь не крестится ж... И с жидами... Не велит...

– Потому как Царём будет, – посерьёзней старший казак. – Не крестится, верно. Говорю ж – конь-спирация! Царь наш православный – он всем Царь, помазанник Божий. И нам с тобой, и жидам, и татарам. С каждым человеком, каков он есть, на егойном языке разговариват. С япошками – по-японски, с китайцами – по-китайски, а с жидами – по-жидовски, известное дело. Понял?! Он всех своих детей любить должен. Скока есть, все его. А то это ж не по справедливости выходит, не по-христьянски, – один – сынок, а другой-то – пасынок?! У Царя сердце большое должно быть, курья башка. Его на всех хватить должно!

* * *

Утром комиссара снова привели к Гурьеву. Офицеры уже позавтракали, и перед Чертоком снова поставили чугунок с картошкой:

– Поешьте, – гостеприимно-радушно улыбнулся Гурьев.

– Могу я узнать, что вы собираетесь со мной делать? – спросил Черток, глядя в стол. После ночи на тёплом душистом сене на сытый желудок и при виде кипящей в станице жизни умирать совсем не хотелось. Так что от вчерашней запальчивости комиссара Чертока оставалась лишь бледная тень.

– Ну, напрягитесь, Семён Моисеевич, – вкрадчиво проворковал Гурьев. – Для чего мне вас кормить и ублажать, если я душегубство задумал? Вешать и стрелять надо товарищей с пустыми животами. А то очень уж негигиеничное зрелище происходит, – Гурьев смешно наморщил нос. – Полный конфуз организма приключается, знаете ли. Так что не тревожьтесь. Останетесь живы. Выдавать Советскую Военную Тайну тоже не требуется. Хотя на некоторое благоразумие с вашей стороны я всё же рассчитываю.

– А Жемчугов? – хмуро спросил Черток. – Его-то вы...

– Ну, Семён Моисеевич, – Гурьев вздохнул. – Вы уж извините, я ведь тоже живой человек. Каким это не покажется странным. А здесь – не охотничьи угоды для гепеушных палачей. Здесь люди живут, которых я защищать взялся.

– Но... Это вы его... так?

– Как? – с интересом посмотрел на Чертока Гурьев.

Черток не ответил, только дёрнул плечами, – мол, сами знаете. Гурьев кивнул и улыбнулся, как ни в чём ни бывало. И спросил:

– Так что? Принимаете правила, Семён Моисеевич?

– Принимаю, – буркнул Черток, по-прежнему не поднимая головы.

– Отлично. Насыщайтесь. День долгий.

Когда Черток наелся и напился чаю, Гурьев сел напротив, подперев голову ладонью:

– Бегать, как заяц, ведь не станете? Не солидно. Да и стреляю я недурно.

– Не беспокойтесь, – угрюмо сказал комиссар.

– Ну, идёте тогда, голубчик.

Гурьев провёл его по всей станице, завёл чуть ли не в каждый двор. Везде их привечали – Гурьеву кланялись, кое-где – так и вовсе в пояс, на Чертока смотрели без радости, но и без злобы, – скорее, с любопытством. Комиссар, всё ещё не понимая, какую цель преследует Гурьев, взирал на всё удивлённо-растерянно. Посетили и школу, где дружно хлопнули крышками парт, вставая, ребяташки, и улыбнулась, зарделась и запечалилась при виде Гурьева юная и прелестная Милочка Неклетова... Закончив экскурсию, Гурьев снова привёл Чертока в штаб.

– А теперь, Семён Моисеевич, расскажите мне своими словами, что вы видели.

– Что?!?

– Я хочу услышать от вас, что вы увидели у нас здесь. Понравилось ли вам?

– Что... Что Вы хотите этим сказать?!

– Ну же, расслабьтесь, – терпеливо, как маленькому, сказал Гурьев и улыбнулся улыбкой многоопытного врача. – Просто представьте, что нет никакой войны. Ничего нет. Только то, что вы видели. Что вы увидели? Расскажите.

– Я не понимаю...

– Не нужно сейчас ничего понимать, – мягко сказал Гурьев. – Вот совершенно. Подумайте. Хотя у меня и не так много времени, я не тороплю.

Черток задумался. Его поразило то, что он увидел. Он увидел нормальных, здоровых, вполне добродушных людей, которые знают, зачем они живут. Не горят, а именно живут, – каждый день, из года в год. Крепкие, чистые курени, ухоженный скот, умытые дети, спокойный, достойный быт, достаток. Ни оборванных батраков, надрывающихся от непосильного труда, ни кулаков, мироедов-злодеев, ни бедноты беспорточной. Ни «белоказаков», ни разбойников ему не встретилось. Крестьяне как крестьяне. Живут только уж очень зажиточно. Собственно, Чертоку не так уж часто доводилось видеть в своей жизни людей, занятых крестьянским делом. Если откровенно, то практически не доводилось вовсе. Он был городским человеком, его детство и юность прошли в Могилёве – вестимо, не Париж, но всё же. Крестьянские парни, с которыми ему приходилось сталкиваться с той поры, как его бросили на укрепление партийного актива РККА, казались ему непонятными, недалёкими, он никак не мог подобрать к ним ключик. Хотя и старался. Он всегда старался делать то, что делал, правильно. А здесь... И эта учительница в школе. А Шнеерсон?! Просто поверить невозможно! И этот высокий юноша, – несомненно, враг, конечно же, враг, и враг убеждённый. А если он враг, если правда за нами – почему он тогда так спокоен и... И так красив?! И все они?! Да что же это такое, подумал Черток. Чего же ему от меня надо?! Кто он вообще такой?! Неужели...

– Я вижу, до вас начинает доходить понемногу, – тихо проговорил Гурьев. – Спросите себя, Семён Моисеевич, положи руку на сердце: есть вам, за что ненавидеть этих людей? Просто будьте честным. Здесь нет ни партийной ячейки, ни трибунала. Мы одни, и никто нас не слышит. Так что?

– Мне – нет, – откровенно признался Черток. – Но...

– Но?

– У нас нет другого выхода, – словно боясь посмотреть на Гурьева, заговорил Черток. – Партия и руководство Коммунистического Интернационала... Нам требуется современная промышленность, технологии. Нам просто необходимо это – любой ценой, и как можно скорее. Мы не можем больше плестись в хвосте индустриального мира. Чтобы создать первоклассную военную промышленность, мы вынуждены действовать только так и не иначе!

– А зачем вам военная промышленность? – ласково спросил Гурьев. – Так быстро, да ещё и любой ценой?

– То есть как?! – Черток посмотрел на него с неподдельным изумлением. – Как это – зачем?!

– Я понимаю, что революцию пора нести на кончиках штыков, – усмехнулся Гурьев. – Это я как раз очень хорошо понимаю. А вы спросите этих людей, нужна ли им ваша революция. И не только этих. Вся беда в том, что вы никого никогда не спрашивали. Кроме себя. Вам самим очень нравится и ваша революция, и ваши идеи. Проблема в том, что вы не одни на этом свете, Семён Моисеевич. А ведёте вы себя так, словно кроме вас и нет никого. А среди тех, кому ваши идеи вовсе не по душе, отнюдь не исключительно сплошь сатрапы, супостаты и кулаки. Если вы не любите и не понимаете людей, ради которых вы якобы делаете революцию, грош

цена всем вашим начинаниям. Я догадываюсь, что вы не собираетесь со мной соглашаться, особенно прямо сейчас. Но вот просто подумайте над этим.

– Я...

– Погодите, – прервал его Гурьев. – Я знаю, что вы можете сказать. Я почти всю свою жизнь прожил в Москве, оказавшись здесь совершенно случайно, по воле ваших товарищей, кстати. Мне ваши басни так в зубах навязли... Там, за речкой, в СССР, почти не осталось таких, как эти люди. Вы всех их убили или выгнали прочь. Зачем? Вы ведете себя исключительно глупо. Нерационально. Не по-марксистки. Ненаучно, в конце концов. Вот представьте себе. Подъезжает ваш поезд, – тот самый, который «паровоз, вперёд лети! В коммуне – остановка!» – к месту, где рельсы заканчиваются. И что делают большевики? Они не слушают инженеров-путейцев со стажем, которые твердят, что необходимы рельсовые бригады, выдержанные, хорошо промасленные шпалы. Но на это требуется время, которого у большевиков, вроде бы, нет. И решает машинист дерзновенное новаторство учинить. Большевики вместо шпал укладывают пассажиров. Как будто им невдомёк, что по такому пути долго не поедешь, да и рассыплется эдакий путь позади состава, потому что люди – не шпалы, не брёвна, не щепки, как бы этого большевикам не хотелось. Хорошо, проехали по костям. И что? Вагоны пусты, ехать некому, везти – некого. Ну, и зачем? Кому всё это было нужно, комиссар Черток? Кому из людей такой сценарий выгоден?

– Это софистика.

– Это именно то, чем занимается ваша партия взапуски с Коммунистическим Интернационалом. Из всех возможных решений вы выбираете самое дикое и кровавое. Любой ценой. Почему? Для чего? Для кого? Не отвечайте мне сейчас. Мне не нужен ваш ответ, да вы его и не можете знать. Мне вовсе не нужно, чтобы вы перековались в мгновение ока и встали под мои знамёна. Я хочу, чтобы вы начали думать, Черток. Перестали польхаться революционным гневом и начали думать. Не больше. А теперь – следующая картина балета, – он посмотрел на часы. – Вставайте.

Они вышли за ворота как раз в тот момент, когда на улице показался отряд, возвращающийся с учений. Увидев Гурьева, Котельников встопорщил в улыбке усы и скомандовал:

– Ярошенков! Песню!

Молодой, звонкий и чистый, как родник, голос, поплыл над станицей:

*По-над речкой Аргунь, у лесистых отрогов Хингана,
Осеняем крестом, стан казачий Россию хранит.
И мудры, и сильны, и отважны его атамань,
Наша воля к победе крепка, как амурский гранит.*

И следом почти две сотни лужёных казацких глоток яростно громыгнули припев:

*Эй, казак, седлай скорей коня!
На врага помчимся, шашками звеня!
Ты не плачь, Маруся, я к тебе вернуся.
Здравствуй, мать-Россия, милая земля!*

Шерстовский, который этого тоже ещё не слышал, вытаращил глаза. А запевала вдохновенно вывел, явно гордясь и песней, и собой, второй куплет:

*На маньчжурской земле, возле самых ворот Поднебесной,
Здесь, в преддверье Великой Китайской стены,*

*Путь России родной защитим мы бесстрашно и честно,
Как положено войску великой и славной страны.*

Не Пушкин, не Пушкин я, подумал Гурьев. Ох, не Пушкин. Не меня благословил, сходя во гроб, старик Державин. Вот совершенно точно не меня. Даже близко я там не стоял. Ну, да за народно-казацкую песню сойдёт. Как-нибудь, Бог попустит, чай.

Ещё дважды прозвучал припев. Это что же такое делается-то, едва не взвыл Шерстовский. Это... Это... Он посмотрел на комиссара, на лице которого отобразилась такая буря эмоций, что ротмистру едва не стало его жаль. Уже почти окончательно поправившийся Шлыков, тоже вышедший встречать отряд, заметив замешательство Шерстовского, весело ему подмигнул.

О, Боже, подумал Шерстовский. Но ведь этого просто не может быть!

Проезжая мимо офицеров и Гурьева, Котельников рявкнул:

– Налево р-ра-авняйс-с-сь!!!

Казачки, как один, повернули головы и вскинули руки к папахам. Гурьев ответил таким же жестом. Когда отряд миновал их, он повернулся к Чертоку:

– А это – армия, смысл существования которой – защищать людей от всякой мрази, которая рыщет вокруг. Лица эти вы видели, Семён Моисеевич?

– Зачем вы мне всё это показываете?!

– Я думаю, у вас ещё осталось немного совести. Только поэтому. Идёмте дальше.

– Куда?

– Увидите.

Он привёл Чертока на могилу Пелагеи. У изголовья стоял временный деревянный крест. Гурьев достал из кармана кителя небольшую фотокарточку – старую, ещё дореволюционную, на которой Пелагея, с уложенными короной на голове блестящими косами, улыбаясь и глядя вдаль, совсем ещё девочкой, позировала перед камерой:

– Смотрите внимательно, Черток. Очень внимательно...

– Кто это? – спросил Черток, глотая противный кислый комок в горле.

– Это – женщина, которая погибла, защищая меня, Семён Моисеевич. Толстопятов разрубил её почти пополам. Она принимала роды у сотен, наверное, здесь, в округе. И она любила меня, а я – её. Теперь её больше нет. Скажите мне, Черток, – ради чего?

– Я... – Черток, чувствуя, что не стоит ничего говорить, захлебнулся готовыми вырваться из него словами.

Гурьев кивнул:

– Я вас отпущу, Семён Моисеевич. Завтра. И позабочусь, чтобы вы невредимым перебрались за речку. Но вы поклянетесь мне, что ни на минуту – больше никогда в жизни – не перестанете думать. С этой минуты – больше никогда. Вы же видите – я ничего не говорю вам, не агитирую вас, не заставляю ни от чего отказываться. Я просто предлагаю вам задуматься и предоставляю такую возможность. Ещё одна ночь у вас есть, Семён Моисеевич. Всего одна ночь, чтобы подумать. Зачем вы делали революцию, комиссар Черток? Чтобы у людей была новая, яркая жизнь. А что вместо этого вышло? Думайте, Черток. Больше ничего от вас не хочу, вот совершенно.

– Почему я? – одними губами прошептал Черток. – Почему именно я?

– А с кем мне разговаривать? – усмехнулся Гурьев. – С Толстопятовым? С Фёдоровым?

Вы хотя бы читать умеете. У вас есть дети?

– Есть, – кивнул Черток.

– Сколько?

– Двое... А... А... У вас?

– Вряд ли у меня когда-нибудь достанет смелости на такой подвиг, как завести собственных детей, – Гурьев усмехнулся снова. – Ладно, хватит на сегодня.

– Вы... Вы действительно... Собираетесь меня отпустить? – всё ещё боясь поверить в то, что уцелеет, спросил Черток.

– Воин Пути никогда не нарушает обещаний, – спокойно сказал Гурьев.

– Воин Пути?! – растерянно переспросил Черток. – Что это означает?!

– Не забивайте себе голову ненужными сведениями, Черток. Когда-нибудь, возможно, узнаете. Сейчас это вам лишнее.

– А казаки?

– Что – казаки? – Гурьев приподнял брови.

– Они ведь не позволят.

– Мои приказы и решения не обсуждаются, – мягко, как ребёнку, сказал Гурьев. – Кажется, у вас была возможность в этом убедиться.

– Я... Я не понимаю... – жалобно проговорил Черток. – Нет, нет, я совсем не понимаю... Кто же вы такой?!

– Думайте, Семён Моисеевич. Думать – это полезно. Идёмте, у меня ещё дел полно.

Эту ночь Черток провёл, ни на минуту не сомкнув глаз. Ещё не рассвело, когда он вдруг забарабанил в дверь своего «домзака¹³». Один из караульных казаков, матюкнувшись, поднялся с лавки и подошёл к двери:

– Ну? Чего надо?

– Мне... – Черток проглотил комок в горле. – Я должен срочно поговорить с вашим... командиром.

– Делов у атамана других нет, тока с тобой лясы точить, – хмыкнул казак. – Спи, людей зря не булгачь. Утром нагутаришься.

– Мне необходимо с ним поговорить. По... Пожалуйста, – тихо добавил Черток.

Гурьев проснулся мгновенно. Выслушав сбивчивый доклад вестового, коротко кивнул:

– Хорошо. Приведите.

Гурьев несколько секунд смотрел на явно не знающего, куда себя девать, комиссара, потом наклонил голову чуть набок:

– Вы чувствуете, что должны что-то сделать. Но не понимаете, что. Я прав?

– Да, – хмуро сказал Черток, не поднимая глаз.

– Кто-то из латинян сказал – делай, что должен, и да случится то, чему суждено. Но вот только... По-моему, происходит совсем не то, что суждено. А это значит – мы все делаем вовсе не то, что должны делать на самом деле. Что скажете, Семён Моисеевич?

– Вы знаете, что нужно делать? Что мы все должны делать?

– Нет. Пока нет никакого плана, Семён Моисеевич. Пока.

– А будет?

– Не знаю.

– Но тогда...

– Делай, что должен, – Гурьев вдруг усмехнулся. – Чем вам не план? По-моему, просто отличный план. Великолепный. Вы не думайте, что я на вас случайно набросился. Вы ведь не военный по сути своей человек, вы – учитель. Толкователь. Не так?

– Так...

– Вот видите. Вас использовали, мой дорогой. Вас – и таких, как вы. Использовали, как таран, как кистень, чтобы сокрушить империю. Использовали как силу, внешнюю по отношению к империи и народу, который её создал. Сначала империю последовательно и целенаправ-

¹³ «Домзак» – «дом заключения», советский эвфемизм понятия «тюрьма», бывший в ходу в первые полтора десятилетия советской власти.

ленно стремились отвести от решения вашей проблемы. Делали всё, чтобы пар в котле создал давление взрыва. А потом – взрыв. Пока эта империя представляла собой помесь тюрьмы и казармы, её существование терпели. Даже то, что она расширялась, было им на руку. На более или менее сносное управление таким колоссом должны были уходить все ресурсы, все без остатка – и людские, и материальные. Но вот посудите сами. Как только начались перемены... Как только империя перестала пожирать ресурсы и начала ими пользоваться... На нас обрушился целый град ударов. И мы не выдержали. Мы повалились. Видите эту картинку? Я – вижу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.